Геда Зиманенко

МОЙ ВЕК

Записал Марк Розин

ЧЕЙСОВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Геде Зиманенко исполнилось 100 лет. Перед вами рассказ о ее жизни от первого лица — остросюжетный, драматичный и одновременно трогательный. Ее тонкие наблюдения и точные зарисовки ярко высвечивают эпоху, позволяют увидеть ее глазами обычного человека. Девочка из еврейской семьи, комсомолка, член коммуны, которая любила, трудилась, растила детей, терпела нищету и боль, отчаивалась, но не теряла надежду и не утратила веру в людей. Удивительно скромный и вместе с тем упрямый характер Геды помог ей пройти через все ураганы века, обрести мудрость и сохранить способность радоваться каждому новому дню.

- Геда Зиманенко
  -
  - Пролог
  - Часть I
  - Часть II
  - Часть III
  - Часть IV
  - Часть V
  - Часть VI
  - Часть VII
  - Часть VIII
  - Эпилог
  -

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Геда Зиманенко
Мой век
Записал Марк Розин

Пролог

2012 год, двадцать первый век. А родители мои родились в девятнадцатом. Внутренним взором я вижу их молодыми и красивыми.

Мне в этом году, если доживу, исполнится сто лет. Сама не знаю, почему я так зажилась. Плохо так долго жить: слабеет память и уходят силы. Я уменьшаюсь в росте — с каждым днем мне все труднее и труднее достать до полки с посудой. Недавно я решила разобраться на кухне, взяла старую швейную машинку, которая мне досталась от родителей, и перенесла в комнату. Я теперь все делаю медленно, так что разбиралась я почти две недели. Когда закончила, хотела перенести машинку назад в кухню — и уже не смогла: ослабела.

Много событий стерлось из памяти, много событий потускнело. Природа не одарила меня ни хорошей памятью, ни особыми способностями — не в пример моим братьям и сестрам. Но я — старшая из оставшихся в живых, и потому мне вспоминать. Я была самым болезненным ребенком из всех детей, но все уже умерли — и Сеня, и Доля, и младшая Шурочка, — а я задержалась на этом свете. Ушли из жизни родители, братья, мой муж Марк, коллеги, учителя — и унесли с собой каждый свой неповторимый внутренний мир. А уж сколько более далеких мне людей канули в Лету… Пока человек живет, вместе с ним живут в его воспоминаниях его родные и близкие, которых уже нет на земле. Но вот человек ушел из жизни — и всё?

Меня всегда мучили бессонницы, а к старости я почти совсем перестала спать. Самое трудное ночью — мысли. Я вспоминаю своих братьев, маму, жалею, что они так рано умерли и уже никто кроме меня их не помнит. Как много они думали и переживали в своей короткой жизни — и вот теперь они живы только в моей слабеющей памяти.

Пока моя жизнь мерцает и близкие живы вместе со мной, я хочу записать свои воспоминания. Пусть корявым языком, неграмотно — записать столько, сколько успею.

В моей жизни все неоднократно кардинально менялось. А в молодости все казалось таким прочным и незыблемым. Подросли мои правнуки, они учатся в школе и изучают по учебникам первую империалистическую войну. Она кажется им давней историей. А я, хотя мне было всего два года, помню, как эта война началась. Конечно, все исторические события, через которые я прошла, отлично описаны в учебниках и литературе, однако каждый человек, каждая семья переживала горькие годы войны и

мирное время по-разному. В книгах рассказывается о знаменитых людях: правителях, военачальниках, писателях. Они повлияли на ход истории. Не всегда делали добрые дела, не всеми можно гордиться. Земля же полна в основном простыми людьми, от которых и идет наш род. Они сделали меньше великих дел, но и стыдиться за них приходится меньше. Начну по порядку.

Часть I

Бабушки и дедушки, встреча моих родителей

О жизни бабушек и дедушек я наслышана из случайно оброненных фраз, замечаний или разговоров между родителями.

Моего деда по папиной линии звали Залман-Михаил Зиманенок. Два имени у него было из-за перенесенной в детстве болезни, когда он чуть не умер и выжил под другим именем. Он жил в Белоруссии в маленьком еврейском местечке Яновичи Витебской губернии. Ездил по деревням на телеге и скупал у крестьян пушнину — шкурки зайцев, белок, шкуры коров и лошадей. В то время меха и шкуры называли рухлядью. Рухлядь он сдавал подрядчику. Самому держать лошадь и телегу было накладно, и потому он брал их напрокат у подрядчика. Впрочем, случались плохие времена, когда мешки с рухлядью приходилось таскать на себе.

Был Залман среднего роста, широкоплеч и молчалив. На едкие замечания своей жены, Ханны, никогда не отвечал. Всю неделю разъезжая по деревням, он общался с белорусскими крестьянами и, по-видимому, нарушал какие-то религиозные установления, а потому всю субботу проводил в молитве. Я помню его по субботам в молельном одеянии с книгой в кожаном переплете, очень сосредоточенным и строгим. Нас, внуков, он очень любил.

Жену его, мою бабушку, звали Ханна Гдалиевич. Семья ее считалась высокородной, так как вела родословную от одного из родов Левитов. Это неоднократно повторялось и потому засело у меня в памяти.

Как так получилось, что высокородная Ханна поженилась с бедняком Залманом, — по большой любви или женихов было мало, — я не знаю, но жили они в Яновичах мирно и с большим достоинством. Бабушка держалась всегда очень уверенно, была она ладно скроена, очень опрятна, ходила в белоснежных блузках и косынках. По субботам делала пышную прическу из своих замечательных каштановых волос. В Яновичах ее почитали и обращались к ней за советом. Поймали рыбу с гвоздем в желудке — можно ли есть такую? Как Ханна скажет — так и делали.

Залман и Ханна родили троих детей: Михаила, Самуила (моего отца) и младшую — Витту (Веру). Бабушка говорила о своих сыновьях так: один безбожником родился, другой безбожником вырос.

Я мало знаю о Михаиле. Мои братья, погостив у бабушки, рассказывали, что дядя Михаил пугал их всякими небылицами. Поправляет обод колеса — и грозится: «Вот сейчас закую вас обоих!..» Дети пугаются и убегают, а затем опять собираются около дяди Миши послушать его россказни.

Младший ребенок, Витта, с детства отличалась вздорным, не свойственным местечковым жителям характером. Никакого почтения к религии, никакой покорности судьбе. Все наперекор, сплошное своеволие и ирония по любому поводу. Страдали от ее причуд не только родители, но и местные портнихи, которым она устраивала скандалы, узнав, что кому-либо пошили платье такого же фасона, как и ей. В местечке всё на виду, и все обсуждали ее непослушание, кокетство, туфельки на таких высоких каблуках, что ей приходилось, возвращаясь с танцев, держаться за забор. Родители любили свою младшенькую, баловали ее и шли на непосильные жертвы, чтобы исполнить ее желания. Бабушка Ханна много лет собирала ей богатое приданое. А Витта рвалась из Яновичей. Когда началась империалистическая война, она взяла себе имя Вера и уехала учиться на курсы стенографисток. Все годы империалистической и гражданской войны родители о ней не слышали.

Мой отец, Самуил, родился на 11 лет позже брата и на 6 лет раньше сестры. Он быстро рос, стараясь сравняться с братом. Жизнь в местечке и учеба в хедере были ему не по нраву, как и строгие правила набожной матери. И как только он отпраздновал бар мицву и стал считаться, по еврейским представлениям, взрослым, он уехал в Витебск. Поселился у дальних родственников своей мамы. Зарабатывал на жизнь, где придется, питался первые годы хлебом, селедкой и яблоками, на что в то время уходило 5 копеек в день.

Самуил был красавцем с импозантной внешностью — роскошная шевелюра, орлиный нос, высоко поднятая голова, усики. Он отличался живым умом, сообразительностью и любознательностью. Самуил приехал из местечка и был малообразован, Витебск же по тем временам слыл культурным городом — там жили художники, артисты, писатели, туда ссылали неблагонадежных, противников царского режима. Ссыльные культуру и поддерживали. В Витебск приезжала оперетта. Самуил полюбил оперетту и затем всю жизнь напевал арии.

В то время стало популярно учение передового немецкого ученого-педагога Фребеля. Молодые девушки ходили на курсы Фребеля, и их называли фребеличками. На курсах они читали не только Фребеля, но и Маркса и мечтали о революции. Самуил

познакомился с революционной молодежью. Им показался интересным красивый тянущийся к знаниям юноша, и они начали его опекать. Осталась фотография: красавец Самуил, Ревекка — его будущая жена — и еще одна круглолицая девушка, первый в Витебске переводчик Маркса. И Ревекка, и ее подруга были фребелички.

Самуил был еще мальчишкой, ничего не знал и не умел — кем он мог работать? Новые друзья пристроили его учиться к подрядчику — строителю. Самуил учился и зарабатывал небольшие деньги.

В марксистском кружке Самуил познакомился с Ревеккой, влюбился в нее, и вскоре они поженились. Отец Ревекки, Соломон Абезгауз, был талмудистом — сидел всю жизнь за Талмудом, расшифровывал, разгадывал слово Божие. Залман и Ханна говорили, что так всю жизнь можно попусту потратить. Как иронизировала папина сестра Вера, синагога была его прибежищем, а старые фолианты в кожаных переплетах — весь жизненный интерес. Кормили семью сыновья Соломона, братья Ревекки. У старшего брата был свой магазин. Вывеска на магазине гласила «колониальные товары», а нарисованы на ней были какие-то причудливые фрукты. Что это были за товары, не знаю, но навряд ли до Витебска доходили хотя бы апельсины. А уж о таких фруктах, как киви, мандарины, бананы, ананасы, в Витебске тогда не только не слышали, но даже на картинках их не видели. Земля в те времена была необъятна, а страны отдалены друг от друга. Что же касается плодов нашей страны, то они были доступны — во всяком случае, до 17-го года, — и свою сестру, а потом и нас, ее детей, старший мамин брат подкармливал яблоками. Я помню нашу радость, когда от него приходила посылка, — мы вскрывали деревянный ящик и лакомились яблоками.

Младшего брата Ревекки звали Беньямин. Накануне войны 1914 года он был мобилизован в армию и пропал без вести. Имя его я запомнила, потому что мама всю жизнь ждала о нем вестей.

И Соломон Абезгауз, и его жена болели туберкулезом. Болезнь эта в царской России была очень распространена, особенно в черте оседлости, к которой относилась и Витебская губерния. Потом заболела туберкулезом и Ревекка.

Когда Самуил познакомился с Ревеккой, ему было 18 лет, а ей исполнилось 23. Ревекка по тем временам считалась уже старой девой. Были у нее густые длинные волосы, которые она убирала скромным узлом, пышная фигура, тонкая талия, маленькая ножка, что было тогда в моде, а главное — красивые глаза «с поволокой». Ухаживание было настойчивым и бурным, а

любовь — взаимной. Свадьба состоялась, невзирая на противодействие родных.

Брак Ревекки и Самуила все окружающие посчитали мезальянсом. Ханна (мама Самуила) говорила, что она девица-переросток, старая дева и не так уж хороша собой. Когда Ревекка вышла замуж, ее родители ничего ей не дали, а приданое устроили братья. Особенно не любила Ревекку тетя Вера. Она мечтала, что ее красивый брат найдет для себя принцессу. (Я все это знаю с маминых слов — мама много рассказывала того, что ребенку слушать нельзя; она хотя и была фребеличкой, но не учитывала, что у ребенка все откладывается в памяти.) Ревекка стала затырканной, нелюбимой невесткой. Вера попрекала ее, давала ей обидные прозвища, пеняла Ревекке, что она неопрятная, а семья у нее туберкулезная. Позже, во время гражданской войны, Вера говорила про Ревекку, которая к тому времени уже болела туберкулезом, так: «Сама больная и еще детей нарожала!» Единственный, кто проявлял к невестке теплые чувства, был Залман — отец Самуила. Он старался сгладить неприязненное отношение к ней других родственников.

Самуил кормит семью

Из двух корней — Абезгауз и Зиманенок — только по одному ростку переплелись и дали побеги; прочие остались бездетными или погибли. Самуил и Ревекка поженились в 1908 году. Приданое было скромное — помог лишь старший мамин брат. Вдвоем на пятак уже не проживешь, и молодой 18-летний муж отправился в поисках заработка по белорусским местечкам внутри черты оседлости. Он объехал Полоцк, Лиозно, Сураж — все места, где что-нибудь строилось. Он быстро сходился с людьми, и потому ему давали работу. В Витебске он теперь бывал наездами и в праздничные дни. Жена ждала ребенка и приучалась к одиночеству.

В то время почти в каждом деле были подрядчики, которые все организовывали. Дело было так. Строился, например, в Харькове мост. Архитектор выигрывал конкурс и находил себе подрядчика, чтобы вести строительство. После этого сам архитектор мог уехать в Италию. Подрядчик, бывало, со всей работой не справлялся и брал себе десятника. Вот Самуил и стал таким десятником.

Если десятник оказывается с головой, то он занимается всем на свете. Был, например, случай, когда Самуил строил пятиэтажный дом в Полоцке, а поставщик привез бракованный

кирпич. Самуил кирпич не принял. Тогда поставщик предложил ему взятку, а Самуил отказался. Подрядчик узнал об этом случае и с тех пор начал Самуилу доверять.

Когда строительство в Полоцке закончилось, подрядчик так привязался к Самуилу, что позвал его работать в Харьков, хотя там евреям жить запрещалось. Самуил стал получать 100 рублей в месяц — очень большие деньги по тем временам. Сначала Самуил построил виадук через железную дорогу, а затем начал строить знаменитые дома страхового общества «Саламандра».

…Дома «Саламандра» были очень известны. Как-то после войны к нам приехал гость из Харькова, и я спросила его: а как там дома общества «Саламандра»? Оказалось, что весь Харьков был во время войны разрушен, а дома «Саламандра» уцелели.

На Самуила подрядчик мог положиться во всем. Он доверил своему десятнику не только строительство, но и закупку материалов: кирпич, известь, песок, лес, краски. Но главное было — строить точно по чертежам: архитектор, найдя любое отступление от проекта или небрежность, заставлял все переделывать, что удорожало строительство.

Однажды еще во время строительства многоэтажного дома стал оседать фундамент. Подрядчик сказал: нужно переделать — да так, чтобы никто об этом не узнал. И тогда Самуил организовал работу по ночам: днем рабочие возводили новые этажи, а ночью заменяли фундамент.

В другой раз приехал архитектор посмотреть на стройку — и ему не понравилась кладка. Он подозвал Самуила и говорит: «Велите разобрать 10 рядов, и пускай теперь выложат как нужно — другой оттенок». Значит, по деньгам 10 рядов кладки потеряно. А Самуилу нужно с рабочими рассчитываться. Пришлось отдать свои деньги.

Строителями в Харькове были в основном крестьяне. Из одной деревни приходила бригада землекопов, из другой — каменщики, из третьей — плотники и маляры. В бригаду подбирались непьющие работящие мужики. Они старались заслужить уважение десятника, потому что тот мог позвать эту бригаду и на другую стройку. Десятнику же со всеми нужна строгость — но так, чтобы не обидеть. Потом уже, лет через тридцать, останавливает как-то Самуила на улице мужчина и говорит: «Не помните меня? А я у вас каменщиком работал, мы вас любили». А Самуил отвечает: «Тебя зовут так-то», — и называет его по имени.

Рабочим трудно было выучить имя «Самуил Залманович Зиманенок» — и они стали звать его на свой лад: Семен Захарович Зиманенко. Так с тех пор и осталось.

Евреям в Харькове жить не разрешалось, и домой к Семену-Самуилу каждую неделю приходил урядник за мздой. Иногда проверку документов устраивали прямо на стройке. Полицейские видели чернявенького паренька, проверяли паспорт — и обнаруживали, что он еврей и у него нет права на жительство. Тогда его арестовывали и сажали в кутузку. Подрядчик его каждый раз выручал — приходил и говорил: отпустите, это нужный человек, ведет строительство для общества «Саламандра».

Редко Семена отпускали из кутузки бесплатно — обычно подрядчик, чтобы забрать его, платил взятку. Один раз Семена посадили в кутузку, а подрядчик об этом не знал. Кутузка находилась в полуподвале, зарешеченные окна располагались на уровне земли, видны были только ноги прохожих. Смотрит Семен в окно — и видит, что идут сапоги подрядчика. Семен закричал, подрядчик остановился, нагнулся, заглянул в окно, увидел Семена и пошел его выкупать. Наконец подрядчику эта канитель надоела — и он вырвал из паспорта Семена листок, где ставили право на жительство. А потом империалистическая война началась, и нравы стали мягче.

Старшие дети — Сеня, Доля и я, Геда

10 марта 1909 года у Ревекки и Семена родился первый сын, нарекли его Семеном. Мамин брат по этому случаю прислал яблок. Не прошло и года, как народился второй сын — Даниил, Доля. Семен приобрел в рассрочку швейную машинку «Зингер», брат мамы, как и в первый раз, прислал ящик яблок, а только что вставший на ноги первенец шлепнул новорожденного братца дощечкой от ящика. Так и повелось в дальнейшем, что Доле доставалось от всех — и не только за свои грехи.

Я родилась в один из летних месяцев 1912 года. Помню я себя начиная с двух лет, так что все, что было рассказано до сих пор, услышано мною позже: ребенок играет, а мама делится с зашедшими навестить ее подружками юности своими горестями и сомнениями. Ребенок растет — и вдруг в какой-то момент всплывает в его памяти все, что он слышал в раннем детстве, еще не понимая значения слов и, казалось, не запоминая, — и эти слова остаются с ним уже до конца его жизни. Так из пойманных на лету разговоров я узнала, что родилась легко — выскочила, по определению повитухи, «как пробка из кислых щей». Мама стала причитать, что девочка тоненькая как соломинка, а повитуха ее успокоила: «Были бы косточки — а мясо нарастет».

В то время была необыкновенно популярна пьеса Ибсена «Гедда Габлер», и папа, который был без ума от театра, решил назвать меня Геддой. Возможно, он хотел, чтобы я стала известной, не зная еще, какие скромные у меня окажутся способности. В советское время, когда я получала паспорт, я попросила убрать вторую букву «д» и стала Гедой.

Все трое детей — Сеня, Доля и я, Геда, — были погодками. Как бедная мама справлялась с нами со всеми? Больше всего беспокойств доставляла ей я — капризами и нытьем. Как-то папа приехал из длительного отъезда домой, а я была годовалая, уже начинала говорить и вместо того, чтобы сладко спать ночью, ныла: «Ой, мне скучненько!..» Папа, скорый на руку, потерял терпение и выставил кроватку со мной в темный холодный коридор.

Самый умный среди нас, детей, был старший — Сеня. Взвешенный, спокойный, он с самого детства любил порассуждать и не участвовал в детских шалостях. Читать выучился в четыре года. Туалет у нас был на улице, весь изнутри обклеенный газетами. Сеня запирался в туалете и читал. Папа страшно кричал, поскольку часами не мог попасть в туалет. Началась война, и все газеты были полны сообщениями с фронтов. Эти два слова — «война» и «фронт» — послужили Сене первой азбукой. К осени 14-го года, когда ему было 5 лет, он не только читал, но и перечислял все позиции русских и немцев. Узнав про это, папа пришел в восторг и решил немедленно отдать Сеню в гимназию.

Прием в гимназию происходил в украшенном актовом зале, на скамейках сидели нарядные дамы с красиво одетыми детьми. В то время действовала трехпроцентная норма для евреев — больше взять было нельзя. Когда дошла очередь до Сени, норма была уже выполнена. Тем не менее Сеня был допущен до экзамена, и директор гимназии решил сам проверить самого маленького поступающего. Сеня без ошибки и без запинки ответил на все вопросы. И тогда директор — видимо, либерально настроенный человек — поднял Сеню на руки и сказал, обращаясь ко всем родителям: «У этого мальчика такие способности, что мы берем его сверх процентной нормы».

Как самый старший и умный, к тому же ученик гимназии, Сеня был для нас с Долей непререкаемым авторитетом. Он не расставался с книжкой — читал все, что попадалось под руку. Никогда не играл и не помогал по дому.

Доля, средний брат, был непоседливым мальчиком, мастером шалостей, но более чутким, отзывчивым и добрым. Он вечно что-нибудь придумывал, баловался и всегда получал за это от отца. Со временем, если дома что-то происходило, все сразу решали,

что это Доля.

Я из всех детей была наименее способной. Как-то мы, дети, обсуждали достоинства друг друга — и Доля в шутку сказал: «А у Геды одно достоинство — только красивые волосы».

Часть II

Начало Первой мировой войны, первые воспоминания

Довоенный Харьков сохранился в моей памяти отдельными вспышками: железная печка, ласковые глаза мамы, наша полуподвальная комнатка, усатый полицейский, который пришел за мздой. Мое первое яркое воспоминание относится к началу империалистической войны.

В нашем доме, где мы обитали в полуподвале, на втором этаже жила немецкая семья — барон фон Кильке с женой и детьми. Они с нами не здоровались. Они выходили из подъезда — и им подавали карету. Их дети, мальчики, держались особняком. Первый раз жена барона фон Кильке заговорила с нами в день объявления войны — она спустилась в наш подвал и сказала: «Ревекка Соломоновна, поднимитесь к нам — красивое зрелище». Мама очень удивилась, обнаружив, что фон Кильке знает, как ее зовут. Мы поднялись наверх, и я первый раз увидела настоящую гостиную, обставленную красивой блестящей мебелью и цветами. Мы вышли на балкон. С ограждения свисал красный ковер. Мама взяла меня на руки, чтобы я видела, что происходит на улице, а Доля и Сеня были выше и все видели сами. Шли со знаменами колонны войск в разноцветных мундирах, играл оркестр, на солнце сверкали трубы, солдаты пели под музыку, народ бросал шапки и кричал: «До победного!» Я засмотрелась — до чего красиво, весело! — подняла голову, чтобы поделиться с мамой своими впечатлениями, — и увидела, что у мамы по щекам текут слезы. И я затихла. Редко дети в два года что-то запоминают, но этот контраст так поразил меня, что я запомнила его на всю жизнь. И гостиную фон Кильке, и веселый парад, и мамины слезы. Мне было 2 года и 3 месяца.

Харьков сохранился в моей памяти таким, каким был во время войны. Что видит ребенок? Лошади на улице, скудное газовое освещение по вечерам. Дома мы жгли свечи и слабые керосиновые лампы — и днем и вечером в полуподвале было темно. Отопление дровяное — металлическая печка-буржуйка. Воду приносили из колонки во дворе.

Постепенно я осознала, что наша жизнь с приходом войны стала меняться. Я заметила, что мама все чаще и чаще оставляет нас одних. Денег не хватало, и она устроилась подрабатывать — разносила от магазина обувь заказчикам. В ненастные дождливые дни она возвращалась домой продрогшей и долго кашляла — я

еще не знала, что это первые признаки туберкулеза.

Со временем мама стала так много работать, что нас с Долей пришлось устроить в детский сад. Нередко она не успевала нас забрать — и мы возвращались одни. Шли сами по темным улицам, несколько раз заблудились.

В воскресенье и в праздничные дни нас обязательно навещал урядник. Он получал мзду в размере 5 рублей и рюмки водки, за что закрывал глаза на то, что мы евреи. Я хорошо помню, как мама выносила ему рюмку водки и пятак на подносе, а он, крякнув, выпивал водку, обтирал кулаком свои длинные усы, брал пятак и изрекал: «Ну, живите». Нас, детей, это и развлекало, и пугало, а для мамы было еженедельным унижением.

Неоднократно заставляли маму волноваться и наши детские шалости. Однажды, придя домой, мама застала нас ревущими. Доля одной ногой стоял на стуле, а другая была засунута в чугунную печку, откуда вынуть ее он не мог. В летние месяцы, когда печка не топилась, она служила нам домиком для самодельных кукол. Я играла в куклы, а Доля пугал меня, что раздавит мой кукольный домик, как теремок. Засунул в конфорку ногу, придавил куклу, а высвободить ее уже не сумел. Мама подергала ногу и бросилась за советом к соседу. Он осмотрел печку, ногу и произнес: «Пилить!» В ужасе мама ударила по печке топором. Печка была чугунной и от удара разлетелась вдребезги. В этот момент вернулся домой папа. Спасаясь от заслуженной кары, Доля помчался на улицу — и попал под лошадь. К счастью, отделался ушибами. Мама плакала, жалела Долю и не дала папе его наказать.

В другой раз Доля навинтил на палец тюбик и ходил весь день, спрятав руку за спину. Свой палец он показал только нам, детям, велел не говорить родителям и сказал, что теперь умрет. Только к вечеру мама заметила и сняла тюбик — но, увы, вместе с кожей.

От тяжелой работы, сырости полуподвала да еще от переживаний за наши шалости и вечного страха, что нас, евреев, выгонят из Харькова, мама стала все больше болеть и кашлять. Мы, дети, все это видели, но не понимали, насколько это серьезно.

В 15-м году папа решил отвезти нас на лето в деревню — там жизнь была спокойней, здоровее и дешевле. Деревня называлась Раковка. Прозрачная речка, лес с ягодами, поля — после города это был настоящий рай для детей. Комнату нам сдал священник. Никакого антисемитизма в деревне я не почувствовала: мама ладила и с крестьянами, и с поповной, и мы дружили с ребятами. Крестьяне очень дешево продавали городским дачникам овощи и

раков.

Сеня как-то объелся раками, и ему потребовалось касторка, а мама касторку из дома не захватила. Какая-то старуха принесла нам касторку — наполовину с мухами, так что мы прозвали ее мухобойкой. Сеня долго сопротивлялся, не хотел ее пить, и маме пришлось на него прикрикнуть.

Весь день мама занималась по хозяйству, а мы играли с деревенскими детьми. Вечером, закончив дневные хлопоты, мама зажигала нашу керосиновую лампу (в деревенских домах были только свечи), к нам приходили деревенские ребята, наши товарищи по играм, и мама читала нам стихи и рассказы из детского журнала «Светлячок».

Доля, как обычно, вовлекал нас в необыкновенные приключения. Деревенские мальчишки ужасно боялись кладбища — ни за что не соглашались заходить туда вечером и с большой опаской ходили на кладбище днем. Однажды Доля подговорил Сеню, они ночью тайком вместе улизнули из дома и поползли в склеп, где был захоронен барин этой деревни. Назад они прибежали, еле дыша от ужаса, и уверяли, что видели привидение.

Еду мы готовили на примусе, который стоял высоко на табурете. Меня очень занимал процесс подкачки примуса, и как-то, когда мы кипятили чайник, а мама на пять минут вышла во двор, Доля сказал, что сейчас покажет мне, как качать примус. Он полез на табурет — и перевернул на себя примус вместе с закипающим чайником. Сама я узнала, что такое ожог, позже и теперь понимаю, что боль была нестерпимая. В деревне лечить было нечем, и мама повезла Долю на телеге в Харьков — в больницу. Лечение ожогов в те годы было зверским: накладывалась повязка с мазью, а на следующий день ее снимали, причиняя страшную боль, чтобы тут же наложить новую. На плече и руке у Доли на всю жизнь остались грубые рубцы.

Младшая сестра — Шура

Шурочка родилась в 1916 году 26 июля, четыре года спустя после моего рождения. Лет через шестьдесят папа как-то сказал, что такого большого перерыва между его дочерьми не было. Может быть, я родилась позже, а может, Шурочка раньше, ну а может, папа что-то перепутал… Войны, революции, переезды — что уж удивляться, что терялись метрики.

Рождение Шурочки я не запомнила. Мы — Сеня, Доля и я — остались в деревне под чьим-то присмотром, а мама уехала в

Харьков рожать. Еврейское имя Шуры — Стерне-Фрейде, но это, по-видимому, придумали только для бабушки. Осталось это имя где-то в старых записях, а скорее всего, звездное и радостное, оно вознеслось к небу пеплом вместе с тысячью других записей во время очередного погрома или войны.

К тому времени папины родители — Залман и Ханна — переехали из Яновичей на станцию Лозовая, возле Харькова, — поближе к сыну. Там было людно — и дедушка стал работать возчиком. Мама болела, ей было трудно справляться с четырьмя детьми, поэтому бабушка с дедушкой взяли Шурочку к себе. Мне запомнилось, как мы с папой ездили их навещать. Шурочку мы застали сидящей в доме на маленькой скамеечке перед голландкой. В одной руке она держала ломоть белого хлеба, а в другой — черного, и так и ела по очереди — вкусно. Кареглазая, хорошенькая, здоровенькая младшенькая девочка — наша любимица.

Обратно шли долго, я устала, папа нес меня на руках. Был конец лета, жарко, хотелось пить и есть. По дороге зашли в какую-то деревню. Папа попросил хозяйку хаты что-нибудь попить или поесть. «Хлебушка нет, — сказала она, — война. А молока дам». Вынесла из подпола крынку молока и налила в кружку. Вкус этого молока я помню до нынешнего дня: холодное, ароматное, густое, сытное. Наверное, только в раннем детстве бывает такая сытная еда. Не однажды простые деревенские бабы и мужики помогали нам в трудные минуты жизни.

Война разгорается. Уезжаем из Харькова

В 17-м году немцы приблизились к Харькову. Это было последнее наше лето в деревне под Харьковом. Жили мы у старушки — братья уверяли меня, что ей сто лет. Спали в горнице, на лавках-лежанках, а хозяйка спала тут же на русской печи. Горница выходила в сени, откуда был проход в крытый двор, где держали корову. Мы — это как обычно: мама, Сеня, Доля и я. Шурочка была у бабушки с дедушкой, а папа пытался заработать денег в городе, хотя работы становилось все меньше и меньше. Даже мы, дети, чувствовали тревожный дух тех дней: Доля шалил меньше обычного, а Сеня не отрывался от книги.

Мама и Доля заболели испанкой одновременно. Испанкой в то время называли грипп. Бои уже шли недалеко от нашей деревни, слышны были залпы орудий. Все окна были закрыты ставнями, но мы, дети, весь вечер смотрели через щели на огненные полосы от летевших снарядов — будто звезды

мелькают. У мамы и Доли высокая температура, они горят — но мы все равно жмемся к ним. Доля смотрит вместе с нами за вспышками снарядов. Он очень возбужден, ненадолго засыпает и, проснувшись, рассказывает, что ему приснился роковой, сулящий смерть сон. Мы допытываемся, что ему приснилось, но Доля, не отвечая, вдруг встает с постели, падает на колени и начинает молиться на иконку, висевшую у кровати: «Боженька, боженька…» Наши родители никогда не молились, только бабушка и дедушка — по-еврейски. Нервы напряжены до предела. И тут открывается дверь — и в комнату входят без стука несколько подвыпивших мужиков. «Соломоновна, — говорят, — тебе все равно помирать… Отдай нам самовар — а мы выпьем у шинкаря за упокой ваших душ». Мы, дети, дружно зарыдали. Мама сказала: «Рано вы собрались нас поминать». Дружный детский рев заставил крестьян уйти. Ночью опять пришли крестьяне и говорят: «Стреляют сильно, страшно. Мы уходим прятаться в картофельные ямы». Мама говорит: «Я не могу уйти — в хате вот старуха столетняя, ей надо в четыре утра корову доить», — и мы остались. Мама считала, что немцы культурная нация и мирным людям вреда не причинят — тем более больным и детям.

Старуха хозяйка поднялась в 4 утра, затопила печь и, взяв меня на подмогу, пошла во двор доить корову. Подоив, вскипятила молоко и дала мне чугунок, чтобы отнести маме и Доле. Я побежала через сени в горницу. И в эту минуту распахнулась дверь, и в сени ввались, как мне показалось, чудовища в касках, крича на непонятном языке. Один из них что-то хотел от меня, я застыла, ничего не понимая, а он пнул меня сапогом под зад — и горячее молоко выплеснулось мне на руку. Солдаты уже собирались войти в горницу, как вдруг дверь распахнулась — и из горницы вышла мама в черном платье с горящим лицом. Никогда раньше я не видела на ней этого платья, никогда не видела таких горящих глаз и скорбного лица. «В доме испанка», — сказал им мама на немецком языке. Чудовища на мгновение замерли, попятились — и задом-задом вышли из избы.

Через несколько часов немцы уходили из деревни. Мы с Сеней наблюдали с дороги, Доля и мама температурили дома. Я, ребенок, не знаю, сколько их было: рота, полк… Впереди они гнали коров, лошадей, овец, а за солдатами бежали мужики, бабы, малые дети, хватали солдат за шинели и умоляли не забирать скотину: «Оставьте кормилиц наших, помрем без них!..» Это я уже хорошо понимала. Деревенские дети дружно ревели — и мы с Сеней заревели тоже. Какие слезы, какое отчаяние — и это война.

В поезде

Работы в Харькове становилось все меньше и меньше. Уже прошли две революции, началась гражданская война. Папа сначала работал десятником на строительстве госпиталей, потом простым бетонщиком, потом, по направлению профсоюза, на разных мелких работах — лишь бы был заработок. А затем и эти подработки кончились. Все строительство замерло — и настало время разрушений. Папа стал безработным, болезнь мамы обострялась. И тогда родители решили уехать в деревню южнее.

И вот мы в поезде, в теплушке — вагоне третьего класса. Для нас, детей, поездка по железной дороге необычна — все интересно и все запоминается. Едем медленно — долгие остановки на станциях, переездах и просто в чистом поле: идет война, и поэтому гражданский поезд все время пропускает военные составы. Родители беседуют с попутчиками, папа очень деятельный — выбегает на каждой станции что-нибудь достать для детей. Все очень занимательно.

В одном вагоне с нами ехал пожилой солдат в драной шинели — то ли дезертир, то ли отслуживший, то ли просто крестьянин. Он молчал, и мы на него не обращали внимания.

На одной из станций мама вышла с чайником за кипятком (в то время кипяток можно было налить в кубовой на станции, у кубовых скапливались очереди). Папе показалось, что мамы долго нет, и он тоже выскочил из вагона. И так случилось, что в этот раз поезд не стал долго стоять и тронулся — а мы остались в поезде одни. Сообразив, что мы без родителей, мы заревели. Каждый реагировал соответственно своему характеру. Самый рассудительный и старший Сеня начал успокаивать нас: мол, родители догонят. Прошел день, другой, мы притихли. Поезд, как нам теперь казалось, стал реже останавливаться и ехал все быстрее и быстрее. Мы не знали, куда едем, — папа не имел привычки делиться с детьми своими планами. Еда кончилась, за кипятком мы выходить не решались. Чем дальше, тем страшнее нам было.

Через несколько дней мы услышали, как другие пассажиры стали говорить: «Надо детей ссадить, а то едут без отца-матери, сами не знают куда». И уж все было на том и порешили — как вдруг вмешался тот молчаливый пожилой солдат в драной шинели: «Не позволю детей высаживать — пропадут в неразберихе. Если ссадим, родители никогда их не найдут». Подсел к нам, успокоил, подкормил и стал оберегать.

Ехали мы целую неделю — и оказались в Симферополе. Подъезжает поезд к вокзалу, смотрим — а на перроне родители!

Какая была радость! Как они догоняли, каким транспортом — я не знаю, но осталась мама без колец, без сережек, все ценное, что на ней было, им пришлось продать. Мы не собирались ехать в Крым, но благодаря этой случайности оказались в Крыму — в Симферополе.

Часть III

В Крыму

Мы сняли предпоследний дом на Дальней улице — так она называлась. Улица упиралась в реку Салгир. Горная речка: глыбы камней — и между ними журчит вода.

Дома на нашей улице были одноэтажные. Когда-то давно тут был фруктовый сад, потом часть деревьев вырубили и построили две линии домов. Перед каждым домом остались большие старые деревья — вишни, абрикосы и кое-где грецкие орехи. А за улицей начиналась степь. Там росли травы и цветы — степь всегда пестрела. Недавно я пыталась разузнать про Дальнюю улицу — и оказалось, что такой в Симферополе уже нет[1].

К нашему дому тоже примыкал фруктовый сад. Посередине двора стоял колодец, сбоку располагалась конюшня. Хозяйка сказала нам: «Лазьте на деревья, ешьте фрукты — но ветки не ломайте». Жили мы бедно, но еды хватало. Хотя, по совести говоря, в детстве мы не думали, что бедно живем. Улица наша была такая чудесная, зеленая, при каждом домике сад. Вот в Харькове в полуподвале действительно было сыро и мало солнца. После голодного Харькова и мучений поезда мы попали в рай.

В Симферополе шла гражданская война. Какая там была тогда власть? Я не знаю. А мы, дети, сразу подхватили блатные песни: «Эх, яблочко, куда ты котишься, немцам в рот попадешь — не воротишься» — и переиначили их: Врангелю в рот попадешь, зеленым в рот попадешь, синим…

Муж хозяйки был ювелиром, его знал весь город, и потому, как только менялась власть, к нему тут же приходили с обыском. Каждая власть считала своим правом делать у него обыск и забирать ценности в свою казну. Бывало, буквально через день по ночам врывались бандиты и под видом новой власти учиняли обыск. У нашей семьи никаких драгоценностей уже не было — мама продала все, чтобы догнать поезд, — но папа по своему характеру не мог спокойно смотреть на грабеж. Он выскакивал в окно, хватал лошадь и скакал в управу выяснять, кто это пришел, законный ли обыск. Несколько раз милиция помогла и прогнала бандитов.

Жизнь понемногу стала налаживаться. Строительство в городе не велось — и папа устроился работать при коммунхозе: то дороги чинил, то снабжением занимался… Хотя от снабжения он всегда старался держаться подальше.

Папа все делал для семьи. Всю неделю работал, а вечерами и в воскресенье готовил варенье из садовых фруктов, варил мыло, перешивал одежду. Одеты мы были безобразно. Еще в Харькове родители купили зингеровскую машинку. Купили в кредит, но наступила революция — и кредит остался невыплаченным. Вначале машинку крутила мама, но ей это было трудно, мучил кашель, — и папа сам взялся шить. Шил штанишки, юбки, все это перешивалось от дедушки к старшему, затем ко второму, ко мне и в конце уже к Шурочке.

Жилось отцу тяжело: дети, у жены туберкулез, работа ответственная, нервная. Он свою лямку тащил, но, бывало, срывался — кричал и на нас, и на маму. Может быть, он маме и изменял — красивые женщины вешались ему на шею, — но так, чтобы это не вредило семье.

Утром мы ели черный хлеб, кусок селедки и половинку яйца, днем лакомились фруктами, вечером мама варила кашу. В субботу стол был богаче — варили курицу или мясо, ели белую булку — халу.

По воскресеньям, когда на рынке был привоз, мама ходила за продуктами на неделю. Покупали обычно фунт-два мяса, иногда курицу, фунт масла, ячневую и гречневую крупу, помидоры, синенькие[2]. Головку сахара и картофель (с этим в Симферополе было плохо) приносил домой папа.

Изредка мама брала кого-нибудь из детей с собой на рынок. Это был случай посмотреть рынок и пройтись по городу. Южный базар очень живописен. Телеги арбузов, решета с кудахтающими курами, бочки с соленьями, прилавки с мясом, маслом, сметаной, мужики и бабы, расхваливающие свой товар на татарском, русском и украинском языках, и рьяно торгующиеся горожане.

Симферополь запомнился мне чистенькими двухэтажными домами с множеством вывесок, электрическим освещением, извозчичьими пролетками, чистильщиками обуви на каждом углу, сапожниками в подъездах, кондитерскими и булочными.

Однажды мама устроила мне праздник: привела в кондитерскую и заказала для меня чашечку шоколада с бисквитом, а себе стакан чая. Мне было и стыдно, и грустно, а мама улыбалась. Не знаю, устраивала ли она такие праздники другим детям.

Раз или два в год папа водил маму в Симферополь в театр — на оперетту или концерт русского романса. На такой случай у мамы было одно выходное платье — кажется, оно называлось «шантеклер».

Когда мы обустроились, к нам приехали дедушка Залман и бабушка Ханна с нашим «мизинчиком» — Шурочкой. Папа снял

для родителей соседний домик — тут же, на Дальней улице. Это был одноэтажный дом с мансардой и очень красивой террасой.

Дедушка опять начал ездить по деревням и скупать рухлядь. Бывало, вернется в Симферополь, сдаст шкурки, получит плату, придет домой, бабушка ему истопит баню, он помоется — и пойдет в синагогу. Суббота — день молельный, и дедушка уходил в синагогу в Симферополь на весь день. Я помню, как он надевал талес и молился. И меня учил молитве, только я все забыла. А потом в деревнях шкурки кончились, всех коров и лошадей съели — и дедушка стал в Симферополе ходить с лотком, продавать папиросы.

Наша бабушка Ханна всегда ходила в белоснежном платочке — сама мудрость, добропорядочность и чистота. Скоро еврейские женщины из города стали приходить к ней за советом. Бабушка была неоспоримым авторитетом не только для соседей, но и для нашей семьи. С этим ореолом она и вела хозяйство. Иногда водила нас, девочек, в баню. Я любила эти походы — нравилась мне и сама баня, и в особенности вход — галерея метров двенадцать-пятнадцать, увитая виноградом. Бабушка, тщательно выкупав нас, окатывала из таза холодной водой — мы замирали от страха и восторга.

На праздники бабушка всегда брала нас к себе и говорила маме: «Ладно, Ревекка, отдавай детей — пусть на твоей душе будет поменьше грехов». Все у бабушки было красиво и вкусно. Особенно вкусно было на Пасху. Я видела, как бабушка готовилась к этим дням: упаковывала и убирала всю посуду, заменяя ее на пасхальную, тщательно мыла столы, внутренности буфета, чтобы не осталось хлебных крошек. Ели мацу, а из молотой мацы — я это запомнила на всю жизнь — делали золотистые шары с яйцами и гусиным жиром и запекали их в духовке, а на стол подавался куриный бульон с таким вот шаром. Готовили фаршированную куриную шейку. Потом я узнала, что все фаршируют по-разному. Бабушка фаршировала мукой, куриным жиром и репчатым луком. Начинит, зашьет, зальет кипятком и варит в бульоне. Готовили гусиную печенку. Еще делали блюдо из вареной редьки и меда, варили чак-чак. Сейчас считается, что чак-чак — татарское блюдо, но у евреев тоже есть такое, только по-другому называется. Бабушка готовила чак-чак про запас — пекла сдобные шарики и хранила их в чистом полотняном мешочке, а когда подходило время есть — варила их в меду.

А еще запомнился мне праздник Суккот. Дедушка украшал террасу ветками, бабушка накрывала стол, а потом мы спали на веранде всю ночь.

Праздничные дни бабушка обставляла как-то особо торжественно, с каким-то скрытым смыслом, с молитвами нараспев, с незнакомыми гостями, по-видимому, еще более бедными, чем мы сами. Очень скудно питаясь весь год, бабушка устраивала показное благополучие в праздники.

Мы, дети неизбалованные, любили бабушкины застолья. Родители на них никогда не присутствовали. Уходить домой бабушка запрещала, но мальчики — прежде всего Доля — иногда забегали в эти дни к маме, чтобы и у нее перехватить что-нибудь вкусненькое.

Папа и мама были атеистами. И потому мы ели всякую некошерную еду и прятали ее, когда приходила бабушка. Помню, как мы едим сало, а папа говорит: «Бабушка идет — прячьте под стол». Мама объясняла, что бабушку и дедушку не надо огорчать. Она сама из религиозной семьи, а что у нее на душе было — я не знаю… Папа был ярым атеистом. Как-то я подружилась с девочкой-евангелисткой. Она мне рассказывала чудесные истории про Христа, а я приходила и пересказывала маме. Папа услышал и сказал: «Ты не понимаешь: девочку в секту тянут», — и запретил мне с ней общаться.

Папа терпеть не мог игры в карты, зато поощрял вечерние чтения вслух. Надсон, Блок, а потом Демьян Бедный и Маяковский — папа читал нам вслух, как только они появлялись в печати. Я не очень понимала смысл, но меня завораживала музыка стихов. Помню, как вечером вокруг стола в кухне, служившей нам столовой, спальней и гостиной, папа зажигал двенадцатилинейную керосиновую лампу и читал нам стихи. А еще мы играли в скороговорки, головоломки, делали игрушки из бумаги, китайские фонарики, бумажную одежду для бумажных кукол. Доля расписывал яйца цветами, бабочками, балеринами, из тыквы делал маски, в которых зажигались свечи, а потом надевал балахон из простыни, брал маску и уходил пугать уличных ребят.

На Новый год мы покупали елку и под руководством папы сами делали елочные игрушки. Самые интересные игрушки из тыковок и бумаги делал Доля.

Мы, хоть и дети одних родителей, были очень разные. Сеня учился легко, не доставляя родителям хлопот. Не помню, чтобы папа его наказывал. Он рано стал репетитором, что выручило его в голодные годы: он питался у своих учеников. Его страстью было чтение: сидя, стоя, на ходу — все, что попадало ему в руки, прочитывалось и запоминалось. Туалет — маленький домик во дворе с нависающим над ним абрикосовым деревом — был сверху донизу обклеен листами из журнала «Нива». Из этого домика его

могла выудить только мама.

Сеня мало участвовал в наших играх и шалостях. Нам, младшим, он подчеркивал свое старшинство: «Старшего братца нужно бояться». Спал он в комнате родителей. Вечерами, когда папы не было дома, мы любили сидеть у него на кровати, слушая истории, вычитанные или сочиненные им на ходу.

Когда Сене исполнилось 13 лет, бабушка настояла, чтобы был выполнен обряд бар мицва. Самым тяжелым для Сени было накануне торжественного дня сутки ничего не есть. В назначенный день к нам из синагоги пришел очень красивый седобородый старец. Мы, младшие, шептались, что к нам явился сам Бог. Помню, как Сеня читал что-то на еврейском, — не знаю, когда он этому научился. В этот день единственный раз папа отпустил нас с бабушкой в синагогу.

Доля был самый сердечный из всех нас. Он любил семью, всегда вносил свежую струю в нашу жизнь, шалил и безобразничал в школе, хорошо рисовал — главный заводила, наш защитник и страдалец. Способный, он учился хорошо, но проделки его выходили за грань дозволенного. Слова «хулиган» не было в нашей семье, но родителей без конца вызывали в школу: то Доля подрался с мальчишками — конечно, защищая слабого, — то пристроил кнопки в стуле учителя, то сломал школьный звонок. Конечно, у Доли всегда были помощники, но всю вину он брал на себя. Родители страдали от выходок Доли. Основным инструментом воспитания для папы служил ремень — и доставалось всегда Доле. Доля недолго грустил и плакал — несмотря ни на что, он всегда оставался добрым, отзывчивым, неунывающим мальчиком.

Хотя в центре Симферополя давно горел электрический свет, мы продолжали освещать дом по вечерам керосиновой лампой. Папа купил двенадцатилинейную керосиновую лампу, в которой вместо одного маленького фитиля был длинный круговой. Она намного лучше освещала комнату и позволяла читать после заката солнца.

Однажды на нашу Дальнюю улицу провели электричество: пришли рабочие, вкопали столбы и натянули провода. Столбы были не очень высокие, а провода натянуты слабо, так что до них можно было допрыгнуть. У нас дома электричества все равно не было, поскольку провести разводку в дом и купить лампочки было очень дорого. Но сами провода нас очень заинтересовали, и Доля тут же придумал игру. Мы перебрасывали деревянную палку с одной стороны улицы через провода на другую сторону. Доля кидал девочкам, а мы, девочки, должны были перекинуть обратно. Однажды Шура кинула слишком слабо — и палка

повисла на двух проводах. «Эх ты!» — сказал Доля и подпрыгнул, чтобы достать палку. В прыжке он схватился за провода и дико заорал. Мы замерли в ужасе. По счастью, в это время мама вышла на улицу развесить мокрое белье. Услышав крики, она выронила таз и бросилась к Доле. Обхватив его за живот, она оторвала его от проводов, и они оба повалились на землю. Ладони Доли были обожжены. Мама с тех пор всегда радовалась, что она вовремя вышла во двор, а я потом много лет боялась электричества.

Папа был строгим: то, что он говорил, должно было беспрекословно выполняться. Если не нравилось или было трудно, это не учитывалось. У папы случались вспышки ярости. Став взрослой, я никому о них не рассказывала — даже мой муж Марк узнал об этих вспышках только незадолго до смерти.

Как-то папа сказал: «Геда, сходи к сапожнику — почини ботинки». Сапожники в те времена в подъездах сидели. Прихожу — а подъезд закрыт на замок. Я вернулась домой с рваными ботинками, а отец принялся кричать: «Как?! Я же тебе сказал: хоть из-под земли сапожника достань — а ботинки почини!» В другой раз он дал мне денег на молоко, а молочник больше запросил — и я молоко не купила. Отец стал орать на меня: «Я сказал столько — значит столько!»

Папа всюду поспевал, все видел. Девочек он не бил, хотя я с детства знала, что у него тяжелая рука. Сене удавалось его успокоить или свалить все на Долю, а вот Доле доставалось больше всех. Как отец начинал кричать, мама бросалась между нами и отнимала нас у него.

Я с раннего детства отучилась канючить и жаловаться. Как-то в течение двух дней я была как сонная, все у меня валилось из рук — но я ничего не говорила. Что-то я выронила, разбила — папа рассердился и схватил меня, чтобы отшлепать. Мама, как всегда, бросилась между нами, вырвала меня из рук — и вдруг закричала: «Ребенок горит!» Меня уложили в маленькой комнате, а папа побежал за врачом. Оказалось, что это брюшной тиф. Меня остригли наголо, братьям запретили ко мне входить…

Папа обращал на нас внимание, только если кто-нибудь провинился, и мы боялись его «карающей десницы». Но стоило кому-нибудь из нас заболеть, как он преображался, изливая на болящего заботу до самоотверженности. И я не преминула этим воспользоваться. Я уже шла на поправку, а папа все меня спрашивал: «Доченька, что ты хочешь?» И я заявила, что хочу настоящую куклу. До этого у меня были только тряпичные. 20-й год, в Крыму разруха, надвигается голод — до кукол ли?! И все же папа достал мне куклу с твердым тельцем, ручками с пальчиками, ножками в туфельках и красивым личиком. Весь

день я играла с ней, раздевала, одевала и была счастлива. Мне не хотелось расставаться с куклой, и я попросила маму посадить ее на подоконник, чтобы я могла ее видеть. Заходящее солнце жаркими лучами било в окно. И вдруг я, к своему ужасу, увидела, что лицо у куклы оплывает. Я поднялась с постели, чтобы спасти ее… Нашли меня на полу в бреду. Лицо у куклы оказалось восковое. А у меня началась вторая волна тифа.

Поправлялась я медленно. Осталась фотография, где я вскоре после тифа — в короткой темной юбке, совсем худая, волосы стрижены ежиком. Врач посадил меня на строгую диету, а братья тайком через окно передавали мне немытые фрукты. А когда я выздоровела, начался голод. Считалось, что после болезни мне надо лучше питаться, и папа покупал на рынке масло и давал мне хлеб с маслом. На братьев масла не хватало, и тогда уже я тайком отдавала им бутерброды.

Папа хотел, чтобы я побыстрее начала учиться, — он был сторонником спартанского воспитания. Но из-за тифа я пошла в школу только в 8 лет. К школе я относилась безразлично. У Сени вся жизнь в учебе, а я — так себе, училась неважно.

Со мной в классе учились двойняшки — брат и сестра, Нонна и Мартин, — способные обеспеченные дети, крещеные евреи. Нонна была отличницей. Она постоянно подчеркивала, что я еврейка, — а я ничего не видела в этом особенного. Ни гордости у меня не было, ни униженности — отцовская черта. В первые годы нам еще преподавали Закон Божий. Школа была гимназическая и, хотя власть уже сменилась, пыталась держаться за старые традиции. И, как первый раз вошел поп, Нонна поднялась из-за парты и говорит: «Батюшка, у нас тут иноверка — пускай выходит из класса». А священник был мудрый человек — покачал головой и сказал: «Если не хочет слушать, пусть выходит, а если хочет — может остаться». Я упрямая была, из класса принципиально выходить не хотела — и осталась.

В третьем классе ввели уроки немецкого и татарского языков. Одолеть их, как и дедушкины еврейские молитвы, я не могла. Для двойняшек, особенно для Нонны, я служила постоянным объектом насмешек.

Я помню, как в том году в декабре выпал первый снег: мягкий, мокрый, он покрывал желтую траву. Я шла из школы и радовалась. Подобрала палку и стала писать на снегу буквы. Сначала написала русские буквы, затем еврейские, которые видела в книге дедушки, а потом записала татарские слова, которые выучила в школе. Я не заметила, что за мной шел папа. «Ты что чертила на снегу?» — спросил он, когда я пришла домой. Я растерялась и замолчала. «Что ты чертила на снегу? Ты почему

не отвечаешь, когда отец спрашивает?!» Папа начал трястись, орать, бросился ко мне — и спасла меня только мама, которая кинулась на отца и удержала его.

Запомнились мне первые каникулы. У хозяйки была дочка Циля — на редкость аккуратная и дисциплинированная девочка. В первый день каникул мы с ней стали играть во дворе. Циля заметила, что колодец, вырытый посреди двора, не закрыт. Она подбежала к нему, нагнулась, чтобы потянуть крышку, — и упала вниз. На наши истошные вопли выбежали все взрослые и заметались, не зная, что предпринять. Только папа не растерялся: он схватил ведро и начал на веревке опускать его вниз. Оказалось, что Циля удачно повисла вниз головой на трубе, которая торчала из воды. Папа опустил ведро в колодец и, всячески ее успокаивая, велел осторожно влезть в ведро. Циля молча перелезла, но, как только папа начал поднимать ведро, стала кричать, что ее туфелька упала в воду — как будто это было ее самым большим несчастьем. Потом мы часто шутили, вспоминая утонувшую туфельку.

Когда я была в третьем классе, в школу пришла Шурочка. Первоклассники поспешили рассказать мне, что Шурочка во время урока спорила с мальчиками, ходила по классу, не слушала учительницу. Младшенькая, любимица семьи, бабушки, дедушки и соседей, Шура держала себя независимо и не признавала школьные порядки. Ее все подкармливали — большой буфет в кухне был местом ее вожделения и уединения.

Дважды наступал голод. Один был особенно жуткий. Нас спасала только школа: американское общество ARA[3] присылало туда помощь. Мы получали в школе тарелку маисовой каши, приправленной кокосовым маслом, а иногда нам давали с собой консервные банки с едой, на которых был нарисован то негр с бананом, то индеец.

Банки с картинками возбуждали детское воображение, а Майн Рид и Жюль Верн подстегивали к действию. Доля помешался на этих банках и решил бежать в Америку. В каникулы он сказал нам по секрету, что поедет с товарищем в Америку и чтобы мы молчали и готовили для него сухари — сушили хлеб на солнце. У его товарища, сказал Доля, друг работает в пароходстве, и, когда объявят, что пароход уходит в Америку, он, Доля, проберется в трюм и уплывет. Папе говорить было нельзя — это грозило нечеловеческой поркой, поэтому мы молчали.

В один прекрасный день Доля сказал: «Я ухожу». Я и Шурочка поплакали, а он пообещал написать из Америки — и исчез. Через какое-то время мама забеспокоилась, у нас спрашивает — а мы делаем вид, что ничего не знаем. На третий день подключился

папа: «Как не знаете?! Знаете!» Стали ругать Сеню. А Сеня всегда если сам что натворит, то молчит — а за его грехи попадает Доле. Не знаю уж, как они разузнали, но выяснили весь план и даже рейс парохода. На пароход дали телеграмму. Долю отловили в Севастополе уже в трюме корабля и привезли домой. Отец устроил Доле громадную порку. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы мама не прикрыла Долю своим телом. Но, несмотря на неудачи и наказание, страсть к путешествиям осталась у Доли навсегда.

Двадцатые годы были временем страшных бедствий и разорений. Мы тоже жили на грани бедности, но папа не только покупал книжки, но и приобрел для нас пианино — и мы, трое старших детей, стали заниматься музыкой. Помню мою молоденькую учительницу со своей мамой и новорожденной девочкой. Жили они в большой красивой квартире. Ходила я к ним по бульвару Крым-Гирея[4]. На жизнь она зарабатывала непривычными, по-видимому, для нее уроками музыки. Часто отвлекалась — то покормить ребенка, то пошептаться с заходившей мамой. Однажды она попросила меня посидеть с ее малюткой, а сама вместе с мамой куда-то ушла. Вернулись они через несколько часов в слезах. Я вышла из их квартиры с ощущением тяжелого горя, навалившегося на эту милую семью. Дома я услышала, как папа сказал, что в этот день расстреляли офицеров, служивших в царской и белой армиях.

Затем к нам стал ходить высокий тощий учитель в берете. За глаза мы прозвали его Дон Кихотом. Наказывал он нас линейкой — бил по рукам за неправильную постановку рук. Сеня первым отказался от занятий и стал сам учиться игре на мандолине — и неплохо играл. Я занималась вплоть до отъезда к тете, но выучилась немногому. Когда деньги кончились, мама хотела отказать учителю, но он сказал: «Я буду заниматься с детьми за чашку чая с сахаром», — и уроки продолжились.

…Дальняя улица нашего детства. Левый конец улицы, где начиналась нумерация домов, спускался к реке Салгир, в которую нельзя было нырнуть, нельзя поплавать, даже нельзя нормально окунуться. Валуны, камни и камешки, среди которых журчит водичка, — такой я помню Салгирку. Правый конец улицы, где нумерация доходила до го-го дома, упирался в футбольное поле. В счастливые годы, когда завершилась гражданская война и установилась власть Советов, когда не было голода и не свирепствовала холера, когда уже перестали напевать «цыпленок жареный», на футбольном поле по воскресеньям играли местные спортсмены-любители. А от домов четной стороны улицы и до горизонта шло поле, все лето алеющее пионами и маками. Это

была наша территория, плацдарм казаков-разбойников для всех мальчишек и девчонок улицы. И заводилой для всех ребят был Доля.

Приезжает тетя Вера

Мама всю жизнь ждала известий от младшего брата Беньямина, пропавшего на войне. А бабушка Ханна продолжала надеяться на встречу со своей дочкой Виттой-Верой, которая в начале войны уехала на курсы стенографисток. Каждое лето бабушка развешивала приданое дочки для проветривания: большой норковый палантин, отрезы, кружева. Папа не верил, что Беньямин и Вера когда-нибудь объявятся. Но однажды бабушка получила телеграмму: «Еду с мужем. Вера».

Мы стали готовиться. Обсуждали, где принимать — в нашем доме или у бабушки с дедушкой. Решили, что лучше у нас: тут кухня большая, да и в целом попросторнее, чем в конуре у бабушки с дедушкой.

И вот в один прекрасный день на нашу улицу въехал открытый автомобиль-ландо. Это был первый автомобиль на Дальней улице. Набежали дети, которые впервые в жизни увидели машину. Мы все думаем: кто же это такой и что ему понадобилось среди нашей бедности? И вдруг смотрим — боже мой! — это приехала тетя Вера со своим мужем. Звали его Анисим Антонович, он был революционер, большевик, командир Красной армии, и у него был автомобиль с водителем. Вот так Анисим Антонович появился в моей жизни.

Пришли бабушка с дедушкой — а Анисим Антонович по-еврейски не понимает. Выйти замуж за нееврея было позором для всей семьи. Но бабушка была мудрая женщина, и она сказала деду: «Верин муж воспитывался в русской семье, потому он и не говорит по-еврейски». Сама она, конечно, все поняла — но всем потом повторяла свое первое слово.

Уезжая, Анисим Антонович сказал тете Вере: «Посмотри, как бедно живет семья твоего брата — надо им помогать». И Вера решила нам помогать. На следующее лето она приехала вместе с дочкой Анисима Антоновича от первого брака, Лидой, взяла нас, детей, и повезла на море.

Поехали мы в Евпаторию. Я, хотя жила в Крыму, на море оказалась в первый раз. Близко с тетей Верой я познакомилась потом, а тогда еще совсем ее не знала. Как только приехали, мы захотели бежать на пляж, а тетя Вера говорит: «Я поеду за багажом, а вы пока постирайте белье». А тут только комната и

терраса — где, как стирать?! Лида старше была — плечами пожала и пошла гулять. А у меня всегда было развитое чувство ответственности — и я осталась дома. Тетя вернулась и спрашивает: «Постирали?» — «Нет, не постирала. Тазика нет, не знала, как стирать». Тетя сказала: «Во всех условиях надо находить выход», — схватила белье, кинула на стол, помылила, полила, пошла повесила — преподала нам урок.

Отдыхали мы хорошо: море, солнце — чего же еще? Чудесный край. Осталась фотография, где мы все в купальниках на берегу около Евпатории. И я, совсем худенькая, лежу на песке.

В Евпатории я первый раз встретилась с Лидой. Она была из деревни — красивая девочка, с косой, но неграмотная. Первые годы ее воспитывала мама, а потом Анисим Антонович забрал к себе.

Жизнь в Симферополе становилось все хуже и хуже, работы не было никакой, и в 24-м году папа уехал в Москву на заработки. Больше он в Симферополь не вернулся. В Москве он нашел очень хорошую молодую женщину, Дору Яковлевну, и женился на ней. Но этого мы тогда не знали. Деньги он первое время посылал, но жили мы все равно впроголодь.

На Крым навалилась новая беда — пришла холера. Все предупреждения мамы о необходимости мыть руки и фрукты мы, дети, часто забывали. Вокруг умирали люди. За Дальней улицей на цветущем поле построили бараки, куда свозили заболевших. У нас заболела бабушка Ханна — самая аккуратная и пунктуальная из всей семьи, она, конечно же, мыла руки и не ела грязные фрукты. Ее увезли в барак — и больше мы ее не видели. Наш молчаливый добрый дедушка осиротел — было ему немногим более шестидесяти. И мы все потерялись: бабушка была моральным стержнем нашей семьи.

Грустное было время. Папа уехал, бабушка умерла от холеры. Дедушка жил по-прежнему отдельно от нас в маленькой комнатушке и стал еще религиознее. Сеня еще больше углубился в чтение и совсем отстранился от бытовых дел. Мама все чаще кашляла кровью — болезнь перешла в третью стадию.

Мама, когда была дома, хоть через силу пыталась освободить нас от всего, что мешало учебе. Когда у нее начинала идти кровь горлом, дедушка на извозчике вез ее в больницу. Заботы о семье и маме стали моими — я оставалась дома за старшую, хотя, конечно, вести хозяйство так хорошо, как мама, у меня не получалось.

Когда я уже жила в Ленинграде и училась в школе, нам однажды задали написать сочинение на тему «Как я в детстве проводил свой выходной день». Ну, я и стала писать. «Раннее

утро, мама в больнице, Шурочка еще маленькая. Вставать не хочется. Солнышко стало пригревать, и я встаю — первая из детей. С вечера ни Доля, ни Сеня воду не принесли — я пошла за водой. Умылась, печь затопила. Зачем печь летом? Так ведь надо и чай вскипятить, и завтрак приготовить. А потом другие дети проснулись. Доля и Шура, младшие, стали шуметь, играть. Я сказала им, что нужно умываться и завтракать. После завтрака я собрала белье и отправила мальчиков в баню, а Шуру решила купать дома в корыте…» Все дети уже сочинение сдали — а я все пишу. Педагог подошел и спрашивает: «Ты почему сочинение не сдаешь?» А я говорю: «Не успела все перечислить». Он взял, почитал и говорит: «И ты все это делала?! Как же ты управлялась? Ладно, сдавай, что написала, а то потом будем вслух читать — тебя никто не дослушает…», — и за недописанное сочинение поставил мне пятерку.

В больнице кормили скудно, поэтому нужно было носить маме обед. Я варила, а относил Доля. Бывали случаи, когда я отправляла Долю, но мне не хватало терпения дождаться его возвращения, чтобы узнать, как себя чувствует мама, — и тогда я сама бежала в больницу. По дороге я заставала Долю, дерущегося с мальчишками, а судки с обедом стояли на обочине тротуара. И это мой старший брат! Я расстраивалась, и руки у меня начинали непроизвольно дрожать — позже это перешло в нервный тик.

Когда маму в очередной раз положили в больницу, приехала тетя Вера. Она пошла к маме и сказала, что готова помочь и забрать одного ребенка. Она хотела забрать Шурочку — самую младшую, но мама уговорила ее забрать меня, поскольку я была слабенькой и мама за меня боялась больше, чем за других. Я этот разговор слышала. Было это в 24-м году, мне тогда исполнилось 12 лет. С тяжелым чувством я собиралась. Перед отъездом я спросила: «Тетя Вера, можно я сбегаю к маме в больницу попрощаюсь?» Тетя отрезала: «Нет времени».

Я уезжала, оставляя больную маму, братьев, сестричку и старенького дедушку. Надежда снова увидеться не покидала меня. Увы, этого не случилось. Через восемь лет мама умерла в больнице от туберкулеза совсем одна.

Часть IV

Омск

Сеня, перечисляя наши достоинства, шутил: «У Геды одно достоинство — красивые волосы». За несколько лет после тифа мои волосы стали длинными, и я заплетала их в косу. Учительница в школе говорила: «Носи косу спереди, а то срежут». Красивые волосы были у всех Зиманенко, но самые красивые — у тети Веры.

Первое, что сделала тетя Вера в Симферополе перед поездом, — отвела меня в парикмахерскую, где срезали мою косу и оболванили меня под машинку

Мы едем в Москву. Я не отхожу от окна — удивительные впечатления. В купе — тетя Вера, я и какой-то певец, осыпающий ее комплиментами. Тетка все крутится перед ним. Ну и решила мной похвастаться, сказала: «У нее голос хороший, может спеть „Санта Лючию“». Увы, тетя потерпела фиаско. С мамой вечерами мы, дети, пели мелодичные украинские песни — но то с мамой. Папа научил меня неаполитанской песенке «Санта Лючия». Я запела. Мужчина послушал и говорит: «Так себе голос — средний». Вот так с первого дня тетка во мне разочаровалась.

В Москве тетя повезла меня на служебную квартиру Анисима Антоновича на Солянке, дом номер 1. Первый раз в жизни я вошла в лифт — от неожиданного подъема у меня закружилась голова, меня затошнило. В квартире нас встретила Лида. Она была на два с половиной года старше меня — крупная, упитанная блондинка с голубыми глазами и волосами, завитыми в локоны. Она — дочка Анисима Антоновича, а я племянница — и эту разницу я прекрасно поняла сразу. Единственный, кто меня порадовал, — дядина собака Керзон.

Все следующие дни у меня болела голова — и я скучная сидела в углу квартиры. «Что с тобой?» — спросила тетя Вера. «Все в порядке, голова немного болит».

Как-то вечером в гости к тете Вере пришел папа. Меня положили спать, а тетя и Анисим Антонович стали поить папу чаем. Весь вечер папа жаловался: «Работы нет, денег нет, жить не на что». Я делала вид, что сплю, а сама сгорала от стыда: как же так — как папа может так жаловаться?!

Через несколько дней тетя повезла меня в железнодорожную больницу. Что она говорила врачу, я не знаю, но меня осмотрели и оставили в больнице. Там из меня безуспешно гнали глистов,

кормили зеленой кашей и поили отваром из семени. В палате нас было четверо — три женщины и я. Из окна палаты был виден сад, где стояли скульптуры. Одной даме я не понравилась — она решила, что у меня «плохой глаз». Конечно, я была страшновата: худая, черная, остриженная под машинку, буковатая. Когда меня не «лечили», я уходила в больничный сад и слонялась там весь день между скульптурами, чтобы не слышать гадости от соседки по палате. От такого «лечения» и тоски я совсем запаршивела. В коридоре больницы была ванная — но настолько грязная, что я не решалась в нее залезать. В конечном итоге у меня завелись вши. Я боялась говорить об этом врачам и боролась с ними сама. А потом медсестра узнала — и меня обрили наголо. Тетка не приходила и как бы забыла обо мне. Не пришел меня навестить и папа. Это был тяжелый месяц.

Наконец Анисим Антонович получил назначение в Омск. Тетя забрала меня из больницы — обритую, исхудавшую — и вот мы опять в поезде, в служебном вагоне в конце состава. Я никогда не видела такого роскошного вагона: купе для меня с Лидой, кабинет дяди, спальня для дяди и тети, купе проводника и кухня. Пес Керзон спит с дядей. В торце вагона — салон с окном во всю стену, кабинетным роялем и обеденным столом.

В Омске для нас была готова квартира на втором этаже каменного дома. Столовая с балконом, кабинетным роялем, обеденным столом и буфетом. Детская для нас с Лидой — с двумя простыми застеленными кроватями, двумя письменными столиками и маленьким гардеробом. Кабинет-спальня для тети с дядей с громадной кроватью, большим гардеробом и письменным столом. Просторная кухня с дровяной плитой и черным ходом во двор, где стоял сарай с погребом, набитым льдом. В столовой висел портрет Троцкого с надписью: «Кормчий революции».

После маленького домика в Симферополе квартира в Омске показалась мне дворцом, и я почувствовала себя ужасно растерянной.

Сколько я помню тетины квартиры, все там было рационально, просторно и чисто. Семья жила на «партмаксимуме» — на большее Анисим Антонович претендовать не разрешал. Хозяйство вела тетя, если не считать полотера, приходившего раз в месяц, и прачки, забиравшей белье. Тетя была талантливой хозяйкой, так что мы жили в полном достатке. Она вкусно готовила, сама шила мне и Лиде одежду. В дни ярмарки тетя привозила на извозчике замороженное мясо, рыбу, молоко и соленья, все сгружалось в ледник — и так до следующей ярмарки. За хлебом бегали мы с Лидой. Из лакомств мы покупали в частной булочной еще теплые, рассыпчатые, удивительно вкусные

сушки. Ни о каких деликатесах — масло, сыр, конфеты — мы не знали.

Омск после Симферополя показался мне неприветливым — без зелени, постоянно дуют ветра. Мы приехали осенью, в холода. В школу меня приняли без особой охоты — остриженная, угловатая, дергаюсь (у меня началось подергивание век). Лиду взяли в тот же класс, но мы сели за разные парты. Мы с ней оказались совсем разные — и внешне, и по сути: Лида — красивая, дородная, ухоженная, капризная, дочь большого начальника, а у меня головные боли, я тоскую о маме, братьях, маленькой сестричке и зеленом Симферополе.

Тетке не нравилось, что я все время хандрю, и она повела меня к врачу. Врач сказал, что необходимо усиленное питание. С этого момента я должна была на переменке прибегать из школы домой пить какао. Какао было противное, и я выливала его с балкона на улицу.

Началась зима — ужасные ветры и морозы. То щеку отморожу, то нос, то ухо болит. Тетка не выдержала, что я ною, треснула меня по уху — тут же боль прекратилась, только ухо стало плохо слышать. Раньше, если со мной что-то случалось, я бежала к маме или папе. А теперь молчала. Один раз в ванной вывихнула плечо и сама себе вправила — рассказать нельзя.

Ветра были такие, что я не могла идти. Бывало, что из-за своего легкого веса я не могла перейти по мосту Иртыш — меня буквально сдувало. Перебираться приходилось унизительно — на четвереньках. Но я все терпела — не плакала, не распускалась. А Лида, хотя была старше меня, могла часто плакать — нормальная девочка. Я много болела, и дядя меня жалел — а ей это было обидно. Зато ее одевали лучше. Тетка к ней строже была, как к старшей. Если тетя посылает меня за сушками в булочную — я довольна: мы сушки любим, можно по дороге поесть. Мелочь — а мне отрадно. А Лиде обидно: она тоже сушки любит — а ее не посылают. Ходили в один пионерский отряд. Тетка все выясняла, с кем Лида дружит, общается ли с мальчиками, придиралась к ней… Ко мне тетка не обращалась: какие мальчики? — она и представить себе такого про меня не могла.

Но и я, хотя вела себя тихо, тетку сильно раздражала. Голос не тот — первое разочарование. Потом — в школу не хотят брать из-за тика. Больная. Тройки. Не было во мне ничего, что могло бы порадовать тетю, чем она могла бы похвастаться перед своими знакомыми. И вот начались поучения, выговоры — и все из-за неоправдавшихся надежд.

По-своему тетка о нас заботилась: обшивала, лечила. Но жить с ней было сложно. Не то чтобы она была злая — она была

нудная. Как возьмется нам с Лидой нотации читать — и все ругает, ругает… Иногда дневник посмотрит — и начнет нас распекать. Если даже хорошая отметка, находила причины, почему все не так: «Не слушаете меня, не цените моих усилий, а я трачу на вас жизнь и молодость». Я была девочка послушная — всегда молча выслушивала. А Лида с ней спорила.

Своих детей у них не было — то ли не хотели, то ли не могли…

Помню, во вторую зиму тетя купила мне коньки и отправила кататься. На катке весело, музыка, неумейки вроде меня катаются, держась за перила. Других детей учат родные или друзья. А я одна. Надела коньки, кое-как доковыляла до льда. Удивительно, что не сразу шлепнулась, — с полчаса, мешая всем, ползала по льду. Наконец упала и расквасила нос. Мне помогли встать и привели в раздевалку. Там мне посоветовали в следующий раз приходить с кем-нибудь из взрослых. Следующего раза не было.

В Омске тетя отдала меня учиться музыке. Два месяца я занималась с учителем на пианино, которое стояло в большой комнате. А потом тетя повела меня на экзамены в музыкальную школу. Экзамены я провалила, и на этом уроки сразу прекратились.

Я любила петь, хотя и было признано, что голоса у меня нет. Большую радость мне приносили уроки пения в школе. Но тетя в пылу нравоучений иронизировала над этими увлечениями посредственности.

Дядю я узнавала очень постепенно. Он уходил на работу, когда мы еще спали, и возвращался глубокой ночью. Мы, дети, видели его только по воскресеньям.

Анисим Антонович был начальником Сибирской железной дороги. Мальчишкой он ушел из деревни на паровоз. Сначала уголь подавал, а затем стал машинистом, изучил двигатель паровоза. В гражданскую войну дядя сам организовал полк и стал в нем комиссаром. После гражданской войны партия отправила его в Среднюю Азию — налаживать работу железной дороги. А когда движение открылось, его перевели в Омск. Он говорил тетке: «Все хозяйство запущено, всюду грязь, паутина, старые специалисты боятся наушников и держатся в стороне, во всех дверях дырочки — подсматривать и подслушивать».

Анисим Антонович терпеть не мог грязь. Он учил на собственном примере — ежедневно проверял состояние техники и железнодорожных путей. Приходил в депо в белых перчатках и лично осматривал паровоз перед выездом. Если перчатки становились грязными, он совал их в нос механикам: «Сажа —

безобразие! Приведите в порядок — чтобы было чисто, чтобы все блестело». То, что паровоз работает на угле, он не считал оправданием. Он говорил: «И люди должны быть, как машины, — подтянутые, аккуратные, без пыли».

Два раза в год дядя ездил в Москву на партийный съезд. Он был участников всех съездов — дома лежали большие красные альбомы. Позже, когда его арестовали, все альбомы забрали.

Из Москвы он привозил немного лакомств — орешки, московскую копченую колбасу. Ломтик такой колбасы можно было взять в рот и жевать целый час.

Один раз мы — тетя, Лида и я — поехали в Москву вместе с дядей. Он брал нас с собой в гости к партийным начальникам, жившим в Москве, — их фамилии я не помню. Тетю интересовал их образ жизни, она все восторгалась их квартирами и обстановкой. Мне же и их обстановка, и обращение показались скромными и естественными. Дядя в разговорах с тетей часто упоминал Кирова, дружбой с которым очень дорожил. Но я Кирова никогда не видела.

После поездки в Москву мы все были возбуждены и долго жили этими воспоминаниями.

В 24-м году у меня началось затемнение легких — начало туберкулеза, как у мамы. И тетя решила отвезти меня на кумыс. Приехали мы на поезде в Боровое. Тетка взяла подводу, а возница спрашивает: «Куда везти?» — «На кумыс». — «К татарам или киргизам?» — «К татарам — они опрятнее». Привез: на пустыре дом стоит, загон выгорожен, кони ржут. Справа от дороги степь, слева бор, а на горизонте горы — синие, зеленоватые, что-то блестит, как серебро. Возница говорит: «Там горные озера».

Дядя приезжал к нам на выходные. Только там, в Боровом, я почувствовала, что он меня любит — сама не знаю за что. Утром дядя просыпался часов в 6–7, а я уже не спала. Он шептал мне: «Идем за грибами». Вставали тихо, чтобы не разбудить тетю с Лидой, брали нашего пса, Керзона, и шли бродить по лесу. Керзон носился вокруг нас. Это были замечательные минуты. Наберем кошелку сыроежек, а потом белые найдем. «Не то взяли. Высыпай — будем белые класть». Когда казалось, что я устала, дядя говорил: «Полезай на руки». Я большая уже девочка, 12 лет, — а он меня на руки берет! Теплый человек. Возвращались домой, а тетя Вера и Лида сонные, только проснулись — поспать любили. Грибы тетя Вера на костре готовила — мастерица была.

Один раз поехали далеко в лес — наняли телегу, переговорили с возницей. Долго ехали по лесу, и вдруг открылась поляна — вся розовая. Смотрим — а это земляника!

Партийная работа засушивает. Редко кто таким, как дядя,

оставался. А тетка как увидела, что дядя ко мне привязался, стала ревновать и еще больше меня шпынять.

Ленинград

В конце 26-го года дядя сдал дела по управлению Сибирской железной дорогой, и мы поехали в Москву за новым назначением. Без сожаления я покинула холодный неуютный город, школу и пустую квартиру, где остался после нашего отъезда только портрет Троцкого.

В этот раз в ожидании назначения на новую должность мы жили в служебном вагоне — сначала на Казанском, а потом на Ленинградском вокзале. При перемещении нашего вагона с вокзала на вокзал пропал наш пес Керзон. Мы обошли все окрестности вокзала, но найти пса не смогли. Очень мы горевали.

Через несколько недель тетя послала нас на Мясницкую улицу за покупками. Мы уже возвращались назад, как вдруг к нам бросилась наша собака, таща на поводке какого-то мужчину. Радость была обоюдная — со слезами, криком и лаем. Но мужчина и не думал отдавать нам Керзона, уверяя, что собака его. На шум подошел милиционер. Выслушав и мужчину, и нас, он велел нам разойтись и отвел Керзона на середину между нами и мужчиной. Керзон, конечно, тут же бросился к нам. Милиционер пристыдил мужчину и сказал, что собака наша. Счастливые, мы побежали к своему вагону обрадовать тетю.

В этот раз дядя получил назначение в Ленинград — и вот мы опять в пути.

Опять трехкомнатная квартира, на этот раз без рояля, без погреба со льдом и без портрета Троцкого. Это был большой серый «доходный» дом на Лиговском проспекте, который был виден уже при подъезде к Ленинграду. На вокзальной площади, где начинался наш Лиговский проспект, стоял какой-то тяжеловесный памятник.

Начинаем осваиваться. До школы минут двадцать пешком прямо по Литовскому проспекту. Если пойти от школы в другую сторону, будет пионерская база имени героя гражданской войны Глерона.

Дом был ведомственным, и в нем жили дядины сослуживцы. Тетя бывала у них в гостях и брала меня с собой. Разницу в материальном положении она воспринимала очень болезненно. Осматривала картины, мебель, чуть ли не лезла в чужие шкафы. Меня смущало, пугало и оскорбляло ее поведение.

…Год назад я впервые с тех времен приехала в Ленинград

(теперь уже Санкт-Петербург). Вышла на Лиговский проспект и пошла в сторону дома, где мы жили почти 90 лет назад. Увы, дома уже нет. Я спросила у женщины, которая шла по улице: «На этой улице стоял большой доходный дом». Она сказала: «Да, вы опоздали всего на год — год назад его снесли…»

Училась я средне, тянула. Друзей в Ленинграде, как и в Омске, у меня не было.

Однажды тетя дала нам с Лидой билеты в Мариинский театр. Чтобы нас не баловать, велела идти пешком. Мы нервничаем, спешим, бежим по Невскому. Это, видимо, было так необычно, что нас окликнула какая-то красивая дама и спросила, куда мы спешим. «В Мариинский театр». — «Почему не на трамвае?». — «У нас денег нет». Тогда дама дала нам 20 копеек, чтобы мы смогли доехать на трамвае. Мы долго переживали, что не можем возвратить долг.

В Симферополе оставались мама и дедушка Залман. Доля уехал строить Днепрогэс, Шурочку забрал папа в Москву. Мама все больше и больше болела и постоянно лежала в больнице. Однажды тетя Вера уехала в Симферополь и привезла с собой дедушку. Ему исполнилось уже 70 лет, что по тем временам было очень много. Дедушка стал жить с нами. Свою дочь Веру он побаивался, все больше молчал и основное время проводил в синагоге. Работать он уже не мог.

Из разговоров взрослых я понимала, что дяде работается в Ленинграде непросто. В Средней Азии и в Сибири дядя, без высшего образования, легко руководил большими железными дорогами. Он почти не бывал в кабинете — всегда где-то на линии, среди рабочих и машин.

В Ленинграде он попал в министерство в окружение старых специалистов с высшим образованием, высоких чинов и политиков. Как он мог себя чувствовать? Мы, дети, об этом не задумывались. Дядя стал более мрачным и неразговорчивым, а характер тетки еще больше испортился.

Через полгода дядю вызвали в Москву на учебу в Академию транспорта. Я помню, как тетя гордилась и говорила, что Анисим Антонович учится в Москве. А потом она сказала, что дядя заболел, и срочно уехала в Москву. Позже я узнала, что дядю арестовали.

Жизнь — это клубок огорчений, страданий, надежд, радостей, горестей и потерь. И нет семьи, в которой все хорошо. Есть люди, которые умеют держать все при себе — не жаловаться, не говорить, — и кажется, что они хорошо живут. Но у всех есть свои печали. Четыре года прожила я у Анисима Антоновича. Он был сильным добрым человеком. И теперь с ним случилось несчастье.

Первому отъезду тетки мы даже обрадовались. С дедушкой мне и Лиде было спокойнее, он не мучил нас нотациями. Тем более мы не знали, что что-то случилось. Через неделю тетя вернулась вся на нервах и почти сразу, ничего не объяснив, уехала опять. «Мне нужно в Москву, останетесь одни, занимайтесь, гуляйте с собакой». Мы сами ходили в школу. Какое-то тяжелое чувство нависло над нами. На уроках я отвечала как в трансе, стала получать двойки. Лида говорила: «Ты отвечаешь у доски, как с того света». Сама она начала прогуливать школу. Если я спрашивала, почему она не идет в школу, она отвечала: «Отстань, не твое дело», — и я не лезла. Тетка приезжала: «На занятия ходили?» — «Ходили». Лида — девочка способная, выкручивалась. Где дядя, что, как — тетка ничего не рассказывала. А я дурочка была — знаю то, что слышу, а остальное не додумываю. Тетка говорила, что уедет на неделю, а сама возвращалась через три. Деньги, которые она оставляла, заканчивались, мы одалживали. Тетка приезжала раздраженная: не так убрано, собака не такая чистая, отметки плохие, зачем деньги одолжили… Я стала для нее обузой.

В одно из возвращений тетки случилась такая история. Тетя вошла в дом и увидела, что Керзон погрыз ее каракулевую шубу. Тети долго не было, у нас кончились деньги, еда — и мы все сидели дома голодные. Видимо, от голода и от тоски по дяде Керзон и изорвал на клочки беличью подкладку тетиной шубы. Тетка увидела испорченную шубу — и давай кричать. Керзон испугался и бросился наутек. Он проскользнул у тетки между ног и выбежал на улицу. Мы бросились за ним. Почти сразу мы услышали крик — Керзон попал под трамвай. Через минуту мы увидели его — визжащего, кровоточащего, скачущего к нам на трех лапах. Тетя, которая выбежала из дома вслед за нами, увидела кровавую собаку и вначале бросилась от нее бежать. Но затем очнулась, вернулась и вызвала машину. Керзона отвезли в ветеринарную больницу. Теперь мы с Лидой каждый день после школы шли навестить Керзона. Через несколько недель Керзон начал выздоравливать, ковылял на трех ногах. И вот в один день мы, радостные, идем в клинику, думаем, что скоро Керзона можно будет забрать. Приходим — а на нас служительница странно смотрит, и пса не видно. Мы говорим: «Где же Керзон?» А она отвечает: «Как, вы разве не знаете? Приходила ваша тетя, велела его усыпить, чтобы не мучился без ноги». Мы плакали всю дорогу домой, и долго потом еще плакали и забыть Керзона не могли.

Тетя и раньше подолгу читала нотации, а теперь заставляла меня стоять и слушать ее часами. Казалось, я была причиной

какого-то громадного несчастья, о котором я не знала. Мои родители не стоили доброго слова, мама больная, папа бросил маму и женился на молоденькой… Черные мушки бегали у меня перед глазами, начиналась головная боль. Два часа стоять на ногах после школы! Я не хотела слушать, что она говорит. И я научилась слушать вполуха. Пока она ругалась, я сочиняла в голове какую-нибудь историю, а на следующий день придумывала продолжение. Тетка, видимо, чувствовала, что я ее не слушаю, и расходилась все больше. «Ты — бесчувственная, неблагодарная, я тебя кормлю!..» — и так она кричала-кричала, а потом ей показалось, что я улыбнулась. Может быть, я задумалась о чем-то своем, и улыбка была обращена к моим мыслям. «Ах, ты еще улыбаешься?! Завтра же уедешь к отцу!» Она ушла из дома и вернулась с билетом: «Утром едешь в Москву. Поедешь в чем одета, ничего не бери. В чем взяла тебя — в том и уезжай».

Утром я собрала портфель, оделась. Лида и дедушка подавленно молчали. Я взяла портфель и вышла на улицу.

В пионерской комнате

Куда мне было идти? Ехать в Москву к отцу? Тетя говорила, что у папы новая женщина, и я не хотела им мешать. Стояла зима, на улице было холодно и темно. В сложные моменты у меня просыпается упрямство. Я пошла в школу и пробилась в кабинет директора. Я сказала, что тетя отправляет меня в Москву, к отцу, а я туда ехать не хочу, потому что у него новая семья и я не хочу быть обузой. Думаю, директор школы знал, что Анисим Антонович арестован, — он отнесся ко мне сочувственно и сказал: «Что же, Геда, школу надо заканчивать, а то никуда не попадешь. Я похлопочу о стипендии до окончания седьмого класса, а ты иди на пионерскую базу, может быть, тебе разрешат там ночевать».

Я пошла по Лиговскому проспекту назад и, не доходя до теткиного дома, зашла в пионерскую базу имени Глерона. Старшим пионервожатым там был Толя Каблуков. Он меня выслушал и сказал: «Ночуй, но с условием, чтобы об этом никто не знал. Вставай рано и уходи до того, как кто-либо появится, а приходи поздно, когда все разойдутся».

Так я стала жить в пионерской комнате. Мне дали стипендию 10 рублей, и еще директор позаботился обо мне и устроил меня мыть полы в школе. Три рубля я клала в конверт и посылала маме, а на остальное ела. И еще откладывала деньги, чтобы, окончив школу, купить билет в Москву. Я не знала, что деньги из

конверта могут украсть, и только потом поняла, что мама этих денег не получала.

Иногда на улице я встречалась с дедушкой Залманом. Жизнь у тети Веры была для него тяжелым испытанием. Он остался в полной зависимости, без денег и не мог соблюдать жесткие требования религии. Он чувствовал себя обузой. Все основное время он проводил в синагоге. Бедный дедушка Залман — за меня он переживал до слез. Мы встречались с ним на улице, он старался принести из дома какую-нибудь еду, а я категорически отказывалась ее брать. Приткнуться нам было негде, походим по улице — и я иду в пионерскую комнату, а он домой.

С Лидой мы продолжали сидеть за одной партой, но домой я к ней не ходила. После школы шла в Казанский собор и там делала уроки, дожидаясь, пока наступит поздний вечер. Лида в основном жила с дедушкой — тетя проводила время в Москве.

Как-то весной Лида говорит: «Завтра приезжает тетка, помоги мне убраться дома, а то она опять будет ругаться». Я согласилась. Первый раз после того, как я ушла от тети, я оказалась в ее доме. Видно, Лида, оставшись одна, не очень утруждала себя уборкой. В тетиной спальне распахнута постель и пахнет папиросами. Ни тетя, ни дядя, конечно, не курили. За все время жизни у них я не видела беспорядка. Я спросила у Лиды: «Ты что — куришь?» Она ответила: «Из окна несет». Я родилась с таким мышлением, что все слова принимала на веру, — и тут тоже поверила.

Весь вечер мы убирались. Лида мыла окна. Квартира располагалась на 6 этаже, Лида вставала на подоконник и высовывалась на улицу. Мне было страшно за нее, и я все время хватала ее за юбку и за ноги, чтобы придержать. Лида была нервная и, как обычно, кричала на меня: «Отстань от меня — иди убирайся сама!» Квартира была просторная, с большой кухней и ванной, но мы потрудились хорошо: вымыли кафель, натерли паркет. Убирались мы до поздней ночи, а вечером я пошла в пионерскую комнату.

Утром Лида в школу не пришла. Я не удивилась, поскольку в последнее время это часто с ней случалось. А на третьем уроке меня неожиданно вызывают к директору: «Геда, ты когда видела Лиду?» — «Вчера, мы убирались у нее дома». — «Лида застрелилась».

Утром тетка приехала домой, а дверь закрыта. Она стала стучать. Стучала, стучала — и тут раздался выстрел. Когда взломали дверь, увидели, что Лида застрелилась из охотничьего ружья Анисима Антоновича.

Я рассказала директору все, что знала. А знала я очень мало — Лида никогда со мной не делилась, считала, что я далека от

всех этих вещей. Директор сказал: «Пойдешь в морг, опознаешь тело. Если будут спрашивать, рассказывай все». Я пошла в морг. Большая просторная комната, стоят кровати без спинок, накрытые белыми простынями. Служитель откинул одну простыню, и я увидела Лиду — красивую, спокойную, с прекрасными заплетенными волосами. Я стояла над ней и не верила, что она мертвая. Я даже потрогала руку — холодная.

Потом было следствие, нашли Лидин дневник. Оказалось, что у нее были дружки из моряков. Говорили потом, что это была любовная трагедия. Может, она в положении была и тетку боялась? Мне она этого не говорила. Следователь и меня допрашивал, но я ничего полезного сказать не смогла.

Прошла пара месяцев. Я окончила восьмой класс, начались каникулы. Старший пионервожатый Толя Каблуков, который пустил меня жить в пионерскую комнату, оформил меня пионервожатой первого младшего отряда. Собирали летний лагерь. Мы ехали в Бологое — там в нескольких километрах от станции в бывшем помещичьем имении оборудовали лагерь. До приезда детей мы, старшие пионеры и комсомольцы, ездили туда убирать комнаты, готовить место для линейки, кухню, место для костра в лесу. Все делали очень добросовестно — это было для всех в порядке вещей.

Однажды я возвращалась по Литовскому проспекту в пионерскую комнату, нагруженная инвентарем для своего отряда — сачками, ракетками, мячами, сетками, — и вдруг навстречу мне идет Анисим Антонович с тетей. Я замерла. Дядя подбежал ко мне, поднял меня на руки вместе с моим грузом, прижал к себе, как бывало в Боровом. «Гедочка, Гедочка!» Ах, дорогой, дорогой человек!.. Тетя его заторопила, взяла за руку и утащила от меня. Больше я Анисима Антоновича не видела.

В тот раз его выпустили и дали новое назначение — на этот раз в Тбилиси. А там вскоре арестовали и расстреляли.

Позже, когда я стала что-то понимать, я много думала: почему, почему такое случилось именно с ним? Машинист паровоза, организовал полк в 18-м году, воевал за красных всю гражданскую войну, восстановил железную дорогу сначала в Средней Азии, а затем в Сибири. Человек, преданный революции, почитавший Сталина. А может быть, дело в портрете Троцкого, который висел у нас в Омске? Или в дружбе с Кировым? Сегодня, думаю, не осталось уже ни одного человека, который знает ответы на эти вопросы. Да и никто кроме меня об этом не задумывается.

А с теткой я повстречалась. Это было через много лет, но еще до войны. Я жила с Марком, мужем, в Москве, а она приехала к

нам в гости. Тетка тут же залезла в шкаф и стала перебирать мою одежду: я, мол, неблагодарная, вот мое пальто висит, а у нее такого нет… Мне было больно и стыдно на нее глядеть.

После войны Марк как-то пошел покупать билеты в офицерскую кассу, а потом вернулся сам не свой. Я спрашиваю: «Что случилось?» А он рассказал, что стоял в очереди в кассу, и тут подбежала какая-то сумасшедшая растрепанная женщина, стала хватать его за руки, кричать на него, что так с родственниками не обращаются. Это была тетя Вера. Марку стало стыдно перед окружающими, и он постарался побыстрее уйти.

Часть V

Еду в Москву

Я отработала пионервожатой две смены. Что мне было делать в Ленинграде? Я знала, что дядя и тетя съехали с квартиры, Лида лежала в могиле, друзьями я не обзавелась. Ничего здесь меня уже не согревало. Кроме, пожалуй, старшего пионервожатого Толи Каблукова, который заботился обо мне, и нескольких старших ребят, молчаливо мне сочувствовавших. Бесперспективность жизни в Ленинграде была очевидна. Настало время ехать в Москву.

Полгода после того, как я ушла от тети, я откладывала деньги на билет до Москвы. Больше всего удалось заработать летом в пионерском лагере. Заработок я складывала в ящик тумбочки в пионерской комнате, в которой ночевала. И вот я решила ехать на вокзал покупать билеты. Залезла в тумбочку — а денег нет. Кто их взял? Не знаю. Что мне теперь делать, я совсем не понимала.

В пионерской комнате было людно — пришло много детей, стали что-то праздновать, все радуются, смеются, а я понуро сижу в углу и не знаю, как быть. Я была стеснительная и никому сказать про пропажу не могла. Ко мне подошел незнакомый мальчик и спросил, почему я такая грустная. И я ему рассказала. Он говорит: «Ничего, у меня есть деньги — мне как раз родители дали, а мне они не нужны». И он уговорил меня эти деньги взять.

Я купила билет и поехала одна на поезде в Москву. Денег хватило только на билет, больше не осталось. Поэтому я всю дорогу ничего не ела. Поезд пришел в Москву ранним утром. Август, на прохладных улицах пусто. Я знала, что папа живет в Дурновском переулке. Спрашиваю, как туда дойти. А мне говорят: «Идти долго, садись, девочка, на 7-й трамвай». А у меня пятака нет. Поклажа легкая — один узелок. И я пошла. Шла несколько часов, плутала, несколько раз спрашивала дорогу. Голова кружилась от голода. Наконец я оказалась на Смоленской площади. От площади начинался Новинский бульвар, усаженный прекрасными громадными липами. Я совсем немного прошла по нему, овеянному свежестью утра. Какой прекрасный бульвар! И тут я увидела Дурновский переулок. Я вошла во двор и остановилась в растерянности, не зная, куда идти. Что я буду делать, если не найду отца? Одна, в громадном городе, где я не знаю ни одного человека! Но не успела я додумать эту мысль, как вдруг будто из-под земли появилась девочка. Она подняла лицо к

небу и улыбнулась утреннему солнцу. Я замерла, не веря своим глазам: это была Шурочка. Мы узнали друг друга, обнялись и заплакали, переживая вновь и вновь горечь четырех лет разлуки.

Шурочка вынырнула из подвала, где жила вместе с папой и его новой женой, Дорой Яковлевной. Мы вместе спустились туда. Слева от входа — умывальник, справа за занавеской кровать, обеденный стол посередине комнаты, у стенки диванчик — наверное, для Шурочки. И еще стоит детская кроватка, а в ней ребенок.

Дора Яковлевна оказалась молодой, полненькой, рыжеватой. Папа обнял меня и велел садиться за стол. Семья готовилась завтракать. Я оказалась лицом к детской кроватке, где стояла маленькая девочка в короткой рубашке. Я поняла, что это моя младшая сестричка. С очень серьезным личиком она наблюдала за мной. Дора Яковлевна разлила всем манную кашу, и мы начали есть. Какой же вкусной после двух дней голода показалась мне эта каша! И тут малышка вдруг очень четко и серьезно произнесла: «Не ешь нашу кашу». Все засмеялись, а я почувствовала, как с меня свалилось напряжение и настороженность последнего года. Чувство необычайной любви к этой малышке наполнило мое сердце.

Когда мой папа встретил в Москве Дору, ей было 17 лет. Они начали вместе жить. Дора не знала, что у Семена есть жена и дети. Как-то Дора была дома одна. Приходит юноша ее возраста и говорит: «А не здесь ли живет Семен Захарович?» — «Здесь, — отвечает Дора. — Вы на него похожи. Вы кто ему — брат?» А юноша отвечает: «Я его сын, из Симферополя приехал, меня тоже Сеня зовут». «Как — сын?!» — всплеснула руками Дора. Приходит Семен Захарович с работы, а Доры нет — она обиделась, что он ее обманывал, собрала вещи и ушла. Всю ночь Семен бегал по Москве, искал Дору. Нашел, покаялся и уговорил вернуться. А через год у них дочка Любушка родилась. А затем уже Доля Шурочку привез, а сам уехал строить Днепрогэс. Сеня поступил в Бауманский институт и жил отдельно, а Шуру Семен и Дора взяли к себе. Так что мой приезд Дора Яковлевна приняла уже философски.

Подвальную комнату под жилье папа переделал сам. В доме был водопровод и паровое отопление. Готовили на примусе, стирали тут же, в подвале, а развешивали белье во дворе. Мыться ходили в баню. Дора Яковлевна, приняв тяжелый характер папы, сохранила доброжелательность и спокойствие. Она часто шутила и с юмором рассказывала о проблемах прошедшего дня. К приходу мужа и детей нужно было сготовить ужин, помыть пол, постирать, погладить паровым утюгом. Дора Яковлевна всегда все

успевала.

Осенью Любушка разболелась. Сначала была небольшая простуда, но болезнь все осложнялась и приняла угрожающий характер. Это был не то дифтерит, не то скарлатина — не помню точно. Как-то поздно вечером, когда Любушке было совсем плохо, папа послал меня за доктором. Я звонила, стучала, но доктора, видимо, не было дома. Так и вернулась ни с чем. Никогда не прощу себе, что не была тогда более настойчивой.

За месяцы болезни Любы Дора Яковлевна совсем извелась. Девочку нельзя было оставлять без присмотра. Я и Шурочка подменяли Дору Яковлевну, когда она валилась с ног от бессонных ночей, усталости и волнений.

С детства я чувствовала чужую боль. Она отдавалась у меня в сердце ноющей болью. Если кто-то из детей поранится, или Доле попадет от папы, или мама кашляет, я чувствовала в своем теле их боль. Вот в первый год в Москве, пока болела Любушка, мне довелось почувствовать это в полной мере.

Много воды утекло с той поры. Уже после войны, когда я была матерью двух больших мальчиков, Марк увез их в Анапу, а я после больницы жила у папы, помню, мне было очень плохо — обострение язвы, — и Любушка плакала, глядя на меня. Я поняла: она тоже чувствует чужую боль. Это очень тяжело, в особенности если не можешь говорить об этом.

В 32-м году папа получил из больницы Симферополя телеграмму о том, что мама умирает. Папа позвал меня и Сеню и сказал: поезжайте к маме. Мы собрались и в тот же день уехали на поезде в Симферополь. Поезда тогда шли долго — и мы не успели, маму похоронили без нас. В больнице нам отдали мамины вещи — золотое колечко, что-то еще. Хорошие были люди в больнице: отдали нам все, даже золото. Мы пошли в мамину комнату. В последние годы она жила одна и все время болела. Под матрасом я нашла черновики писем — она писала в собес слезные жалобы, что ей нечего есть, что она готова делать любую работу, чтобы был заработок. Но ей всюду отказывали.

Работаю арматурщицей

Я не хотела сидеть на шее у отца. А поступить учиться на рабфак или в вуз можно было, лишь имея рабочий стаж. Весной, когда Любушка выздоровела и не нужно было все время помогать Доре Яковлевне, я сказала папе: «Хочу работать». И он привел меня на постройку «Мосфильма».

Я попала в группу учеников арматурщиков. В группе было 20

мальчиков, все разновозрастные: самому младшему 14, старшему — 20, а я оказалась единственной девушкой. Одни ученики приехали из деревни, другие, дети из интеллигентных семей, пошли на стройку, чтобы получить рабочий стаж и поступить в учебное заведение. Платили мало, но на кусок хлеба хватало. Работа требовала высокой квалификации — нужно было уметь читать чертежи. Руководил группой Глагольев — увлеченный своей профессией человек, настоящий учитель. Ко мне и к мальчикам относился одинаково строго.

Самые маленькие ребята были хулиганистые: достанут пленку, положат в спичечный коробок, подожгут — и под ноги бросают. Как-то на одного ученика котел свалили — громадный котел был, накрыл его целиком, — и ушли. Он долго стучал и кричал, пока его не выпустили.

Однажды мы армировали 2-й этаж главного павильона «Мосфильма». Я несла вуты длиной 5 метров. А передо мной шел один из малых мальчишек, тоже с вутами. И он взял и сбросил свои вуты прямо мне под ноги — шалость такая. Я налетела на них и упала. Я тогда совсем худая была — кожа да кости, мякоти не было совсем, — ударилась голенью, заплакала. Долго потом ноги болели, не проходили. Глагольеву я про этот случай ничего не сказала — терпела.

При Глагольеве все себя чинно вели. Он приобщал нас к культуре, возил смотреть на московские здания, показывал архитектуру.

Рабочий инструмент арматурщика — кусачки. Чтобы уложить арматуру, нужно прочесть чертеж. К примеру, балка состоит из стержней на растяжение и стержней на сжатие, между ними крепятся вуты, чтобы арматура работала. Кроме рабочих стержней была подсобная арматура — хомуты. Арматура должна придать бетону гибкость, подготовить его к разным температурам и разным нагрузкам — статическим и динамическим. Глагольев всему этому нас учил. Читала чертежи я очень легко, инстинктивно. Зато с железом работать было трудно. Легко гнуть арматуру из тонкого железа, но в балках стержни были толстые, 10–12 миллиметров — вот такие не согнуть. На прямых стержнях на концах нужен крюк. Сначала на верстаке делалась разбивка, а затем крюк заворачивали кусачками. Это еще как-то у меня получалось. А самыми трудными для меня были рабочие стержни. Чтобы железо гнуть, сила нужна, девочке это непросто.

Глагольев устраивал соревнования на скорость. И по хомутам я — девушка — оказалась первой; мальчишки стыдились. По рабочим стержням первой быть не удалось.

За три месяца Глагольев научил нас читать чертежи и делать

все арматурные работы. В конце ноября он устроил экзамен в присутствии всех бригадиров. Спросил: кого себе в бригаду возьмете? И нас стали разбирать по бригадам. Молодые бригадиры хотели брать здоровых сильных ребят — работа тяжелая, физическая. А меня попросили старые мастера, старики, сказали: нам вот эту девочку, она грамотная, будет в чертежах разбираться.

И началась моя настоящая работа. Под навесом на громадном верстаке по чертежам я делала разбивку для стержней на всю бригаду, гнула хомуты, таскала заготовки к месту установки. Железная работа считалась квалифицированной. Оплата сдельная: сколько колонн уложишь в опалубку, столько бригаде и платят. Каждый день приходила учетчица, обмеряла, считала, записывала объем сделанной работы. И вместо восьми-девяти ученических рублей я стала зарабатывать шестьдесят-восемьдесят.

Выходила из дома я рано, от Новинского бульвара ехала на трамвае до Киевского вокзала, потом на автобусе до Химзавода, а дальше на Воробьевы горы пешком. В 8 часов начиналась работа. Мне было уже 16, и я работала полный рабочий день под бдительным оком бригадира. Весь день на улице — а зимы тогда морозные были.

Опасная была работа. Один раз я видела, как какой-то парень сорвался с 4 этажа. Он летел вниз и чудом зацепился за стержень. Вокруг меня все ахнули: «Марк, Марк! Марк чуть не погиб!»

Коммуна

Ребята мне говорили: «А что ты не встаешь на комсомольский учет? Иди к секретарю — он парень хороший, спокойный». Я мялась-мялась — и наконец решилась. После работы пришла в комнатушку, где ячейка была, а за столом сидит Марк Розин — тот самый, который чуть было не погиб, сорвавшись с верхнего этажа. Сам серьезный — а глаза улыбаются. Посмотрел на меня и спрашивает: «Ты кто?» Я отвечаю: «Я на стройке арматурщицей работаю». А он говорит: «Что арматурщица, я знаю, старики рассказали. А зачем тебе в комсомол?» Он пошутил так — что, мол, сама не знаешь, зачем тебе комсомол, — а я тогда шуток не понимала, нахмурилась. Он и говорит: «Сердитый карлик Маркс!» — он так меня обозвал — я очень маленькая была и серьезная. А после сказал: «Приходи к нам в коммуну жить — мы, комсомольцы, решили организовать образцовый барак, нам помещение дают». И я сразу согласилась.

В то время я еще жила с папой. Пришла к отцу и говорю: «Пойду с ребятами в коммуну жить». Папа встал на дыбы, кричал: «Что у тебя — семьи, что ли, нет?! Не пущу!» Я и не понимала, чего он волнуется, — мне в голову ничего дурного не приходило. Сейчас-то я думаю, что он боялся отпускать меня одну к мальчишкам. Но я закусила удила, терять мне было нечего, и сказала: «Уйду — и все».

Ребята в коммуне были разные. Одни пришли, потому что жить было негде. Другие идейные. Но в основном собрались те, кому негде было притулиться. А тут комсомольская организация, порядок какой-то, секретарь есть. Помогал нам секретарь партийной ячейки — Николай Дурнецов. Организовать коммуну непросто. Сначала нужно было получить разрешение вышестоящей партийной организации — но это еще полдела. А затем надо было жить так, чтобы не осрамиться.

Мы говорили: «Покажем строителям, что можно в барачных условиях жить нормально, чисто!» Строители жили в барачном городке. Бараки длинные, по двести человек, койки в два этажа. Рабочие прямо в ботинках и в робе валились на койку, никаких простыней и в помине не было. Редко кто снимал верхнюю одежду. Бани нет — в город нужно ехать. Один туалет на шесть бараков, а в каждом бараке по 200 человек. На тумбочках куски хлеба, объедки, на полу старые портянки, рваные боты. Грязь, клоповник. Таким был барачный быт.

И вот комсомольцы решили показать, что и в таких условиях можно жить нормально. Секретарь парторганизации отхлопотал полбарака. Комсомольцы в первый же день решили в пустом бараке репетировать самодеятельность. Только стали играть, как один начал почесываться, потом другой… Посмотрели на потолок — а оттуда клопы сыплются. Комсомольцы одумались, поняли, что надо не самодеятельностью заниматься, а чистоту наводить — стали мыть, драить. Выгородили столовую, одну комнату организовали для парней и еще три кабинки на две койки в каждой — между койками впритык тумбочка помещалась. В одной комнате две девочки жили, а еще две кабинки для семей.

Когда я пришла в коммуну, она уже функционировала. Устроили общее собрание, меня расспросили, кто я, откуда, и оставили ночевать в одной из комнаток. Я заснула ненадолго и тут же проснулась от клопов. Лежу, мучаюсь, вспоминаю 19-й год — тогда в Крыму было нашествие клопов, и во всех семьях велась ужасная борьба: их травили и кипятком, и керосином. А мы, хотя мама и болела, клопов не пустили. Я полежала-покрутилась на своей койке, встала и пошла в столовую. Села на стул — и сижу, не сплю. А тут случайно Марк встал до туалета дойти. Прошел

мимо меня, будто не заметил, подошел к двери — и тут его как током ударило. «Ты чего в столовой сидишь, почему не спишь?» — «Клопы». — «Как — клопы?!» Махнул рукой и пошел спать. А я всю ночь на стуле в столовой просидела, дремала. Утром чаю попила и побежала на стройку. А вечером пришла — слышу: ребята шумят, Марк собрание устроил и говорит: «Геда всю ночь спать не могла, что это такое? Мы должны показать пример». И мы стали клопов химией травить. Небыстро, но справились.

День в коммуне начинался рано. Дежурный вставал затемно, подогревал чайник на керосинке, резал хлеб и ставил сахар. Торопливо поев, мы вскакивали и бежали на свои рабочие места. Обедали в столовой и часто после работы там же и ужинали. Зимними вечерами большинство из нас собирались в столовой: кто делал уроки, кто читал, кто рисовал стенгазету или плакаты или делал другую общественную работу. Володя Соколов, Леша Жаров, Марк Розин обсуждали тему и программу на следующее занятие ликбеза. Подальше от стола группка слушала пересказ литературного произведения. Часто вечерами к нам заходили из других бараков посмотреть и послушать комсомольцев.

Шел 30-й год. Воздух был пропитан энтузиазмом и возбуждением. Не так давно мы отметили десятилетие советской власти. Началась первая пятилетка. Суть пятилетки мы понимали смутно. Еще в Ленинграде пионервожатые пытались рассказывать о пятилетке, но они и сами мало что знали. Теперь мы штудировали решения партии, статьи, старались разобраться в сути дела.

Я очень любила вечерами в нашей столовой наблюдать за ребятами. Это были вполне взрослые, но очень разные люди. Одни замкнутые, другие открытые; сдержанные и вспыльчивые. Все комсомольцы, но каждый со своей идеей, со своей мечтой, и не каждый ею делился. Мне были интересны споры между Лешей Жаровым и Володей Соколовым по поводу мировой революции. А Марк с Мишей Панченко обсуждали производственные темы.

Вспоминается, как яростно мы, комсомольцы, боролись за моральную чистоту. Мы все были трезвенниками, девушки не пользовались косметикой. Помню одно собрание, на котором обсуждались и осуждались вечера с танцами. А уж кружка пива — смертный грех. Помню, один комсомолец пришел навеселе. Организовали собрание, стали обсуждать. Он оправдывается: «Был у друга, выпили…» — а мы ему говорим: «Ты позоришь коммуну!» Наташа, уборщица, губы накрасила — тоже стали разбирать: мещанство, губы красить нельзя. Запрещалось играть в карты и читать любовные романы. Мой папа тоже запрещал играть в карты, но любовные романы обожал. У нас,

комсомольцев, правила были строже — мы не могли позорить свое звание.

Две трети заработка коммунар отдавал в общий котел. Парторганизация коммуне помогала — изредка нам давали талоны. Один раз дали талон на обувь — я поехала в магазин, а по дороге у меня талон украли. Я чуть не умерла от расстройства, а ребята меня успокаивают: ладно тебе, походи пока в старых. Хлеб, чай, сахар закупали на всех.

Были у нас в коммуне запоминающиеся личности: Володя Соколов, Володя Максимов и Леша Жаров. У Соколова отец священник — это по секрету знали только Марк и я. Он был самый начитанный, умный, интеллигентный среди нас — кроме обязательной семилетки, по-видимому, получил еще домашнее образование. Работал на стройке, а свое происхождение скрывал. Через пару месяцев после организации коммуны Володя Максимов женился на Наташе — уборщице. Мы выделили им комнатку в две койки, и они стали там жить — милая пара. А затем в коммуне произошла трагедия: Наташа влюбилась в Лешу Жарова, а Володя продолжал любить Наташу.

На одном из собраний коммуны Леша Жаров объявил, что хочет расписаться с Наташей. Большинство возмутились: как же, товарищи? это же неэтично! О закреплении брака в те годы мы не задумывались. Полюбили — значит на всю жизнь. На собрании все погорячились, пооораторствовали, пожалели, что в коммуне такой конфуз, и согласились. Володя перешел в комнату для мальчиков, а его место занял Леша Жаров. Мы все очень переживали — это была наша первая трагедия в коммуне.

Леша Жаров был очень интересный человек, философ по духу. С Марком он все время спорил, у них были разногласия по поводу Маркса и Ленина. Леша любил держать во рту папиросу, хотел чем-то отличаться от других. Позже он поступил в институт литературы. Мы с Марком уже вместе жили, а он к нам приходил вести философские диспуты. И сестричку свою привел. Она стала нас навещать и пыталась отбить у меня Марка. Но Марк довольно быстро ей сказал, чтобы она больше не приходила. Такая вот семья Жаровых — очень интересные люди.

В результате нашей борьбы за чистоту быт в бараках постепенно менялся. Происходило это, конечно, медленно, очень медленно — и не только по вине администрации. И все же мы добились, что на постели рабочие стали стелить простыни, а клопы исчезли. Перед бараками поставили брусья для гимнастики, и мы стали заниматься физкультурой.

Востребованные профессии за время стройки менялись: уехали землекопы, каменщики, плотники — пришли штукатуры и

маляры. Стали появляться работники кино и искусства. Все меньше и меньше были нужны арматурщики.

Зима стояла суровая. Мы, молодые, терпеливо переносили ее тяготы. На одном из собраний коммуны Марк поднял вопрос, что негоже, чтобы девочки ходили с отмороженными руками и таскали тяжести, — надо подумать о другой работе для нас.

Вечером большинство ребят учились. И я тоже пошла на конструкторские курсы. Училась на тройки. 30 лет спустя я пришла в гости к отцу, а он говорит: «Ты меня в краску вогнала, я был в архиве, смотрю: Геде Зиманенко выговор — спала на лекциях». А я сначала 10 часов на морозе работала, а потом до курсов дойти еще нужно: темно, страшно… А назад идти еще хуже: на ночь на стройке выпускали собак, возвращаешься в темноте одна — а на тебя свора собак бросается… Стала ночами копировать чертежи. Зарабатывала пять рублей и давала Шурочке, чтобы она у папы не брала. Ребята выйдут ночью в туалет, проходят через столовую — смотрят: я черчу. Они удивляются, а я отмалчиваюсь, продолжаю работать. Вот на лекциях и засыпала.

Почти все ребята выучились за время жизни в коммуне. Только две девушки не учились — Мотя и Наташа. У них не было особых устремлений. Они на стройке работали уборщицами — и так на всю жизнь уборщицами и остались.

Материальных ценностей в коммуне не было. За все время я приобрела только шеститомник Ленина. Так он со мной и остался. В детстве вокруг меня было много книг. Отец две страсти вывез из Витебска: литература и оперетта. Он следил за новыми поэтами и писателями: Демьян Бедный, Есенин, Маяковский… А в коммуне этим мало кто интересовался. Учебники покупали, да еще Маркса, Энгельса, Ленина.

В 30-м году четверо наших коммунаров ушли в армию. И Марк ушел. Марк и еще двое ребят попали в танковую часть, а двое других — в летную.

Прошла большая жизнь, я стала многое забывать. У разных людей в жизни бывают похожие события, но сам человек неповторим. Сколько разных людей было в коммуне, работали рядом со мной — я помню их лица, а имена многих уже забылись. В памяти остался актив коммуны: Соколов, Жаров, Смирнов, Васин, Ананневич, Панченко, Максимов, Наташа, ну и, конечно, Марк Розин, секретарь ячейки комсомола, председатель актива коммуны, и Николай Дурнецов, секретарь партячейки, — он очень помогал и направлял нас во всех случаях жизни. Николай погиб в Великую Отечественную войну, как и многие члены коммуны.

Марк

Когда я пришла в коммуну, сестра Володи Соколова считалась невестой Марка. Красивая, начитанная, она часто приходила к нам в барак, и Марк любил с ней беседовать. Девушки говорили про нее: «Льнет к Марку». А затем Марка забрали в армию. Летом 30-го года я как-то прихожу с работы, а Наташа говорит: «Марк из армии приехал на побывку, весь расстроенный, и лег спать». — «А почему расстроенный?» — «Невеста письмо прислала, что выходит за другого». Ну, Наташа всегда все знала — вот и рассказала, что невеста написала Марку: «Я решила, что с тобой будет морально хорошо, а материально плохо, ты из армии в одной шинели придешь, у тебя нет ничего, ты — солдат, человек неперспективный, а я выхожу замуж за инженера». В те времена профессия инженера была престижной, им много платили. Я пожалела Марка, заглянула в мужскую комнату, смотрю — а он спит. Ну ладно, подумала, раз спит — значит, не очень переживает. Марк проснулся, сели чай пить, ну, и я эту тему, конечно, не поднимала.

Марк понравился мне с первого взгляда. Как пришла к секретарю ячейки, взглянула на него — у меня сразу сердце кольнуло. Но я, конечно, ни на что не рассчитывала: он высокий, статный, секретарь коммуны — все девушки на него вешались. И они же его критиковали: некрасивый, не умеет ухаживать, увалень.

На следующем собрании перед днем Красной армии стали обсуждать, кто навестит Марка, чтобы отвезти его экипажу подарки от коммунаров. Я сказала: «Я поеду». Так я поехала к нему в Наро-Фоминск один раз, а потом стала ездить каждый выходной. Мне выделяли сумму из коммунарского бюджета, я покупала гостинцы и ехала. Я пристрастия Марка знала и привозила ему сладкое. Военные меня запомнили и, как увидят, кричат: «Розин, к тебе красная шапочка приехала!» — я тогда красный берет носила. Марка я всегда заставала под танком — чумазый, руки грязные, в руках ветошь. Танкист он был отличный, в парад его танк первым шел по Красной площади, ему доверяли вести колонну. Он механизмы хорошо знал, все сам умел чинить. Ездил и на мотоцикле, и на танке.

С 14 лет Марк работал на сукновалке. Это очень тяжелая работа. А дома корова была, и он, старший мальчик, таскал бадью с пойлом для коровы, доил. Когда Марк приехал в Москву из Рудни, он сначала устроился линовальщиком в типографию на Арбате. Но его скоро уволили, потому что он не поладил с хозяином. Тогда он вместе со своими земляками — Ронькиным,

братьями Застенкерами и Лившицем — встал на биржу. Ходили впятером и ждали работу. Сначала его послали мыть окна в ЦУМе. Затем вагоны грузил. Ну, а потом уже на стройку «Мосфильма» отправили. На стройке он был и каменщиком, и слесарем, и механизатором — постепенно осваивал профессии и переходил с одной работы на другую. Строило «Мосфильм» русско-германское акционерное общество «Русгерстрой». У них были передовые технологии: строили на теплом бетоне, добавляли не гравий, а шлак. Они прислали ленточный транспортер, на котором раствор поднимали наверх. Потом появилась бетономешалка, гравиемойка. А кирпич по старинке на козе носили, кранов не было. Коза — это доска шириной в 2 кирпича, которая ремнем крепится на спине. Положишь 20 кирпичей на козу — и лезешь по сходне вверх. Каждый кирпич 2,5 килограмма весит — вот и посчитай, какой груз таскал каменщик. Один раз Марк упал с лестницы — успел схватиться за трос и повис на нем. Мог тогда насмерть разбиться.

После того как Марка бросила невеста, я стала навещать его каждое воскресенье — и навещала все время, пока он был в армии. Тогда только воскресенье было выходным. Вставать приходилось рано: нужно и в город сходить — в баню, и белье постирать, и к Марку в Наро-Фоминск съездить.

Летом как-то Марку дали увольнительную на один день, и он приехал в коммуну. Мы пошли с ним гулять к Москве-реке. От бараков, где мы жили, недалеко — минут 15. Там два моста стоят, похожие, как близнецы. Марк купаться полез, а я не стала, его ждала. Он вылез из воды и подсел ко мне. Я была в платье в голубую полоску, которое сама себе сшила. Ветер подул, юбку поднял, и он вдруг положил руку мне на коленку. Я была очень строгих нравов и рассердилась на него. А он говорит: «Я с тобой собираюсь всю жизнь прожить, а ты на руку сердишься». Вот и все объяснение. Больше никто из нас ничего не говорил.

Вступил в строй кинопавильон, окончательно уехали рабочие строительных специальностей, появились новые люди — профессионалы кино, совсем не похожие на нас. Бараки перестраивали под квартиры. Коммуна пустела — все разлетались. Некоторые перешли работать на «Мосфильм»: Леша Жаров — механиком, Наташа — уборщицей. Те, кто не уехал, разделили барак на комнатушки — и ничего от коммуны не осталось. Я нашла работу в Теплобетоне, на Покровке. А жить где? Леша Жаров и Наташа говорят: «Оставайся, Геда, у нас». Кровати не было, спала на стульях. А скоро у них ребенок родился. Две трети заработка я продолжала, как в коммуне, отдавать Леше. Обедала на работе — в столовке. Утром, как было

заведено еще в коммуне, — чай с куском хлеба; вечером тоже чаёк попьем.

Работала я сначала копировщицей, потом чертежницей, а затем техником. На работе познакомилась с Таней Сорокиной — она была на постройке учетчицей, обмеряла наши работы. Мы очень сдружились, она частенько помогала мне советами. В столовую в Спасоголенищевский переулок ходили вместе и по пути много переговорили о жизни. Интересный она была человек — «из другого общества».

Марк демобилизовался осенью, в ноябре, сообщил открыткой день, когда приедет. В тот день, когда он приезжал, хлестал дождь со снегом и была жуткая гололедица. Улицы в то время песком не посыпали, и дороги превратились в каток. Сотрудники после работы сунулись на улицу — и вернулись назад, сказали: «До дома не дойти». И начальник мне говорит: «Гедочка, переждите». А я рвалась домой — знала, что сегодня должен вернуться из армии Марк.

Куда Марк придет с поезда? Он этого не написал. Мы подумали с Наташей логически — и решили: туда, где была коммуна — больше ему в Москве идти некуда. Марк к нам и притопал с Киевского вокзала — автобусы тогда не ходили. Пришел в кирзовых сапогах, в шинели и с котомкой белья. Спрашиваем: «Как ты дошел?» Он говорит: «А что такое?» Мы говорим: «На улице гололед ужасный!» А он отвечает: «Я не заметил».

Поздно было, 12 часов ночи: как жить, где работать — пришел и пришел, там видно будет. Марку на полу постелили, а я опять на стульях устроилась — но мы так и не заснули: говорили всю ночь. Наташин малыш крепко спал, а я все рассказывала, как распалась коммуна, как я искала работу, и Марк про себя говорил.

Утром попили чай, я на работу побежала, а Марк пошел навестить земляков и начать поиски работы. Вечером Наташа говорит: «Ложитесь вместе — мы вам кровать уступим». Марк молчит, и я молчу. Опять спим — он на полу, а я на стуле. Так мы прожили 10 дней. По вечерам земляки Марка собирались: Гриша Лившиц, Илья Ронькин, братья Марк и Семен Застенкеры. Они и предостерегли Марка: ни в коем случае не иди в торговлю. Говорили: на тебя с твоим характером и принципами повесят все грехи и быстренько упекут за решетку. Было несколько таких предложений, и с хорошей комнатой, — но Марк отказался.

Как-то я с работы прибегаю: «Марк приходил?» — «Нет еще». Сижу, жду его. Вся ночь прошла — а он так и не вернулся. Тогда мы мало чего понимали — куда идти, где искать, кого

спрашивать… Ночь прождала, а утром на работу пошла.

Вечером меня Наташа на крыльце встречает с загадочным лицом. «Марк пришел?» — «Нет, не пришел. Зато мальчик приехал, брат Марка». Зашла в комнату, а там действительно мальчик лет пятнадцати. «Тетя Геда, вот вам письмо от родителей. Папа сказал: можешь Марку отдать, а можешь Геде». Я была в изумлении: откуда отец Марка может знать про меня? А мальчик говорит: «Марк отцу написал, что он женится, а зовут жену Геда». Мне Марк ничего не сказал — я только от его брата и узнала, что он считает меня женой. И Марку я ничего не сказала. Так без слов начали вместе жить…

В письме родители Марка написали: «Ты теперь человек семейный, посылаем к тебе Шлему. Мы с ним сладить уже не можем, у отца руку отбил, все время к тебе рвется — воспитывай его сам». Ну, Наташа стала волчком крутиться, на стол собирать. «Давайте ужинать садиться, — объяснила. — Марка нет, но скоро он придет». Поужинали, спать легли: я на стульях, а Шлема (Сема) на месте Марка, на полу. На душе неспокойно: Москва большая — где он? не случилось ли чего?..

…Я всегда знала, когда Марк рядом. Бывало, еду в трамвае, сердце закололо — я головой кручу, а Марка нет. Вечером спрашиваю: «А ты где сегодня был?» Он говорит: «В городе, на такой-то улице». Я говорю: «А когда ты там был?» И оказывалось, что был он ровно в тот момент, когда я проезжала и у меня сердце кололо. И так всю жизнь. Если у метро встречу назначали, я всегда за минуту знала, что сейчас он выйдет, — чувствовала его, а потом сразу видела издалека…

В те времена телефоны были только у директоров предприятий и у заслуженных людей, личные разговоры не допускались. А тут через день после получения письма меня зовут к начальнику: «Вас к телефону». Звонит Марк: «Гедочка, я устроился на работу и получил комнату, не сердись, что меня не было несколько дней, я комнату в порядок приводил, будет тебе сюрприз». Я положила трубку, хотела поблагодарить нашего милого начальника, но он опередил меня — сказал: «Вижу, я не зря позвал вас к телефону».

Вечером, когда я уже была дома у Наташи и Леши, пришел Марк. Как же он удивился Семе! Прочитал письмо от родителей. Посидели, поужинали. Марк говорит: «Спасибо вам! У нас теперь своя комната есть, мы пойдем». — «Куда вы уходите в ночь?» — «Нет, мы пойдем». И мы втроем — я, Марк и Сема — ушли.

Ночь, я несу корзиночку — немного вещей, еще из Ленинграда. Марк и Сема говорят о своем на еврейском — я им не мешаю. А вот и наш дом, наша комната. Поздно, а спать не

хотим, шутим, Марк рассказывает, сколько трудов ему стоило найти работу с комнатой. Начался новый этап нашей жизни.

Часть VI

Начало совместной жизни. Первые трудности

Комната, которую нашел Марк, располагалась в Барабанном переулке. Маленькая, шесть метров, в полуподвале — окошко на треть в земле. Там были стол и кровать, но такие грязные, что Марк их выбросил — гадость. Стены и пол мы отскребали щеткой. Марку на фабрике дали доски и гвозди, и он сбил топчан и стол. Я принесла с собой корзинку, еще из Ленинграда, — в ней были простыни, подушка и байковое одеяло. Топчан застелили байковым одеялом. Мы легли на топчан, а Сему положили на полу. Так началась наша семейная жизнь.

…Я навещала наш дом в Барабанном переулке и в 70-е, и в 80-е годы — еще много лет после того, как мы оттуда съехали. Дом переделали в общежитие: грязные подъезды, темные окна… Можно было подойти и с улицы заглянуть в полуподвальное окошко, где мы начали жить с Марком. В 90-е годы дом остался пустой. Пару лет назад мой внук Марик, который записывает эти воспоминания, начал работать на Электрозаводской, и я попросила его сходить посмотреть на наш дом. Марик нашел дом и рассказал, что он стоит в запустении. Недавно Марик еще раз ходил в Барабанный переулок — а дома уже нет, на его месте зеленеет свежий газон…

Папе я до этого момента про Марка не говорила — что говорить, пока все вилами по воде писано. А тут все стало ясно, я пошла к папе и сказала: «Буду жить с Марком Розиным, он — хороший парень». Папа встретился с Марком, и тот ему понравился. «Серьезный парень», — сказал папа и подарил нам швейную машинку «Зингер» — ту самую, которую они купили с мамой в рассрочку еще в Витебске и за которую из-за революции так и не выплатили кредит.

А вскоре начались испытания. К нам домой стала приходить сестричка-коммунарка. Я работала далеко от дома и там же обедала, а Марк работал в соседнем доме и днем забегал пообедать домой. Вечером приду — и сестричку застану. А я ничего не подозревала. А иногда прихожу домой, Марк ничего не говорит — а потом вдруг оказывается, что она и сегодня была, а Марк забыл сказать. Я мучаюсь, молчу. Прошло несколько месяцев — и Марк рассказывает: «Сегодня опять сестричка приходила и говорит мне: „Что ты живешь в этой конуре? Переезжай ко мне“. А я ей сказал: „Иди домой и больше сюда не приходи“». В каких-то вопросах он очень мягкий был, а где-то —

жесткий, принципиальный.

И еще было. Когда я заболела в первый раз, пришла врач. Осмотрев меня, она вышла из комнаты и позвала с собой Марка. Я думала, она хочет что-то по поводу моей болезни ему сказать. Смотрю, Марк возвращается красный: доктор отчитала его за обстановку и за топчан — что на досках спим. Через несколько дней прихожу с работы, а у стенки стоит железная кровать и спинка с шишечками. «Вот, Гедочка, я кровать купил, как врач сказала». А у меня бзик был (нас же комсомольцами воспитывали) — и я стала Марку выговаривать: «Что за безобразие! Мещанство какое! Только буржуи на кроватях с шишечками спят!» Разошлась, почти на крик перешла. Марк выслушал меня и говорит: «Если ты еще раз накричишь на меня, я уйду и больше не вернусь». Больше я на него голос не поднимала… А потом война началась, все забылось…

Выходной был один — воскресенье. Можно поспать подольше. Встаем вразвалочку, завтракаем. Идем в баню — благо, она близко. После бани надо постираться, а вечером можно сходить куда-нибудь. В библиотеку ходили. Могли просто посидеть, поговорить по-человечески. Меня интересовало, как у него на работе, а он про меня расспрашивал.

В 32-м году Марк поступил учиться в университет Свердлова, без отрыва от производства. На воскресенье оставались конспекты. Он все воскресенье учился, а потом шли гулять в парк, на воздух. В кино ходили. Читали, иногда запоями, если что интересное. Марк говорил: «Хватит, Гедочка, сделай передышку, а то и ешь с книжкой».

Учусь чертить

Я тоже решила пойти учиться.

…Учиться мне никогда хорошо не удавалось. В Симферополе в гимназии меня травили, как могли — Нонна и Мартин, крещеные близнецы. Таких злых ребят я больше никогда не видела. Когда тетка забрала меня в Омск, у меня началась «пляска Витта» — тик; директор посмотрел и сказал: «Девочка для школы неподходящая». Может, у меня и были какие-то способности, но тетка постаралась их отбить. Ее мечты, что я буду вундеркиндом и мною можно будет хвастаться, не оправдались — и она стала без конца говорить, что я делаю одни глупости. Мне нравились хор и рисование — она высмеивала мой голос и рисунки. Я стала замкнутым ребенком. Тетка хотела, чтобы я училась музыке, наняла преподавателя. Преподаватель позанимался со мной, и

тетка повела меня сдавать экзамены в музыкальную школу. Я сыграла пьесу и сделала несколько ошибок — меня в школу не взяли. Тетка тут же учительнице отказала — и на этом все ее благие намерения кончились. Такая у меня была учеба…

Экзамены я никогда сдавать не умела. Литературу знала нормально, а грамматику не понимала абсолютно. Отвечала всегда в трансе. Но я знала, что высшее образование необходимо, преодолела себя и пошла поступать в архитектурный. Самым трудным был последний экзамен — сочинение. Я сама не поняла, как смогла написать, — получила четверку и поступила.

Началась учеба по вечерам. Самыми трудными для меня были уроки рисования. Мы с натуры голых мужиков рисовали. А у меня комплекс — я не могла, мучилась, отводила глаза…

Вскоре меня стали мучить изжоги — сижу на лекциях скрючившись. Педагог вызывает к доске — а я встать не могу. Образ жизни такой: поработала, перекусила — и на учебу. Я люблю остренькое: возьму черный хлеб, соленый огурец и иду на занятия, жую. Прихожу поздно — и спать ложусь. Желудок все больше и больше болел — это уже были приступы язвы, а я не знала. Заметила в какой-то момент, что когда поем, то легче становится. Вот и бегала в институтский буфет. А там пирожки, жаренные в масле. Сосиски еще были, но для меня дороговато. Пожую пирожки, чуть легче станет — и опять на лекцию. И так день ото дня. А потом как-то совсем припекло, рвота началась, Марк скорую вызвал, и меня отвезли в Склифосовского. Старенький врач, профессор, сказал: «Застарелая язва. Вы давно болеете?» А я говорю: «У меня уже не первый год желудок болит — терпела, пирожками заедала, думала — изжога». «Все, — говорит врач, — теперь будете в больнице лежать, а потом — санаторий и на всю жизнь диета». И еще сделали рентген легких — оказалось, что затронуты верхушки, начинается туберкулез, как у мамы.

…Марк за меня очень переживал. Моя болезнь отняла у него немало лет жизни. Он был в трепете, что со мной что-то может случиться. Всю жизнь за меня боялся. Условия были на пределе: военные тяготы, дети маленькие, как тут тяжести не таскать — а мне нельзя. Толя, старший мальчик, пытался помочь, всегда сам свои вещи нес. Но таскать все равно приходилось. В войну огород копала, целину. Кушать хочется — поневоле будешь копать. Много жизни отняла я у Марка своей болезнью…

После больницы институт пришлось бросить. Но меня взяли в мастерскую делать графическую работу. Другие делали работу моментально, хватали на лету, а для меня это был тяжкий труд. Я — рабочая лошадка — с трудом постигала основы графики. Я

всегда старалась никого не спрашивать, сама справиться, перечерчивала, мучилась. Но мне везло на хороших учителей.

А потом я пришла работать в Теплобетон. Оклад маленький, и я брала дополнительную работу домой — копировать чертежи. Видимо, учеба даром не прошла, и я уже кое-что понимала. Копировала и видела ошибки, и когда приносила, говорила авторам: «Вот тут неправильно, тут и тут». А они на меня взъелись: «Чего вы указываете? Вы копировщица — вот и копируйте!» А я вижу, что неправильно. Они пожаловались начальнику. Он вызвал меня, а я объяснила, что было неправильно начерчено. Он велел принести чертежи, посмотрел, позвал авторов и говорит: «Она же права. Лучше бы ей спасибо сказали». После этой истории меня стали больше ценить. Роза Марковна — она молодая умерла — учила меня карандашом работать. Я быстренько нахваталась и начала сама чертить. Я много конструкторских работ сделала, но больше всего мне нравилась архитектура.

Беременность. У родителей Марка

Первые годы, когда мы начали жить с Марком, у меня не было детей. И со своими родителями он меня не знакомил. Как-то в шутку Марк сказал: «У евреев есть обычай: если в семье долго нет детей, то можно расходиться». Я хоть и понимала, что он шутит, но все время его слова помнила. И вот, наконец, я забеременела. Марк написал родителям — и мы решили, что весной поедем к ним знакомиться. Но перед самым отъездом выяснилось, что Марка не отпускают с работы. «Поезжай одна, я дам телеграмму, тебя встретят», — сказал Марк и посадил меня на поезд.

Доехала до Капели, полустанок около Рудни. Кроме меня никто из поезда не вылез. Я выбралась, стою с чемоданом, оглядываюсь, не знаю, что делать. Подходит мужик с кнутом. «Ты к кому? К Розиным? Ну, пойдем». Стоит лошадь с телегой, на телеге сено. «Садись, поехали». Я была в положении — 4 месяца, дорога неровная, телега трясется, мне стало плохо. Я попросила: «Дядя, а дядя, давай я рядом пойду». Так и дошли до деревни. А перед домом мужик говорит мне: «Садись, а то некрасиво выйдет, попросили тебя привезти, а я не довез».

Папа и мама Марка жили около города Рудня, в деревне. Зимой папа работал в Рудне на заводе, а летом его посылали в деревню принимать лен. Жили они в крестьянском доме, который мама переделала по своему вкусу. Мама оказалась высокая

брюнетка, а отец кряжистый, широкоплечий. Встретили они меня вроде хорошо, только отец все головой качал. Зашли в дом. Отец говорит: «Ты, верно, устала с дороги». Я отвечаю: «Не очень». — «Ну, тогда пойдем со мной». Взял меня за руку и повел в цех приема льна. В цеху на полу весы большие стояли, на которые машины заезжают, а рядом лежали мешки со льном. «Становись на весы», — говорит. Я встала. Папа опять стал головой качать. «Ну что, 48 килограмм для женщины прилично», — сказал и усмехнулся. Назад меня не повел, сказал: «Найдешь дорогу до хаты, а то мне работать надо», — и я вернулась в дом, к маме.

Я маме по-русски говорю, а она мне по-еврейски отвечает. Вспомнила я, как тетя Вера привезла Анисима Антоновича знакомить с бабушкой и дедушкой, а он по-еврейски не понимает, — вспомнила и внутренне улыбнулась.

Запомнился мне первый ужин. Мама положила на стол большой круглый хлеб домашней выпечки — каравай. Папа протянул мне нож и говорит: «Нарежь». Я содрогнулась. Я никогда не видела такого хлеба и не держала в руках такого большого ножа. Я вспомнила картинки и отрезала несколько ломтей. Мне ничего не сказали.

Спать меня уложили на перину. Лежать на пуховой перине мне до этого не приходилось. Душно, тяжело — сплошное мучение, я плохо спала. Очнулась под утро — слышу: мама с папой тихо по-еврейски разговаривают. Прислушалась и стала понимать. Мама говорит: «Надо ее подкормить. Купи машину-сепаратор — будем сливки сбивать». И действительно, смотрю, утром папа сепаратор принес.

Потом я уже поняла, что в глазах мамы я была недостойна. Все Розины рослые: Ева выше меня, Сима выше меня, Ирма выше — а я вроде и не карлица, но на голову ниже Марка.

В доме корова была, каждый день мама вставала в 5 часов утра, доила корову, взбивала молоко в сепараторе и приносила мне стакан сливок. Мне вспомнился Омск. Когда выяснилось, что у меня затемнение верхушек легких, тетка велела, чтобы я прибегала в большую перемену и выпивала чашку какао. Какао мне опротивело, но я не могла не пить: что тетка скажет, то должно быть сделано. И я с балкона выливала какао вниз. А сливки у мамы с папой Марка я пила с удовольствием.

Трудная жизнь была у мамы. В 5 утра встанет, корову подоит, пойло тяжелое для коровы кто-то из мужчин вынесет — надо, чтобы корова попила, прежде чем пастух пойдет с дудкой стадо собирать. Молоко, которое надоила, процеживала, мне сливки взбивала, потом кашу готовила. Подымались дети — кто на работу шел, кто учиться, — отец уходил, и тогда мы с мамой

садились завтракать. Изба — пять окон, во дворе загородка для коровы и кур. Надо кур покормить, пощупать, кто яйца снес, на рынок сходить, обед сварить. Хлеб сами пекли. Я маме стала во всем помогать. Нескончаемая работа — к вечеру валюсь с ног. Так прожила я у них месяц, и они меня проводили.

Рождение Толи и Вадима

Когда я вернулась в Москву, я была на шестом месяце беременности. Шел 34-й год. Я продолжала копировать чертежи. Подрамник очень большой, укреплен на досках — а я маленькая, до верха не дотягивалась. Чтобы чертить верхнюю часть, ложилась животом на доски. Лежу, черчу, чувствую, как шевелится ребенок, и думаю: не повредила ли ему? Какой ребенок родится, когда я столько на подрамнике лежу? А делать нечего: мысли одолевают — а работать приходится.

Я не ожидала от себя, что так буду усложнять Марку жизнь. Вроде я человек непритязательный. Да, у дяди жизнь была обеспеченная. А в коммуне мы жили скудно — и я не жаловалась. Когда Марк нашел комнату и мы вместе поселились, я несколько раз капризничала. То мне не понравилась кровать с шишечками, то Марк чашки не те купил. Марк обиделся и сказал: «Будешь теперь сама все покупать». И я исправилась. Два года мы жили в шестиметровой комнатке вместе с Семой — я не понимала, что это трудно, и считала, что живем как все. Я потом поняла, что чувствовала себя зажатой, жила на пределе, держала себя в рамках, эмоций не показывала. А тут Сема ушел, долгожданная беременность — и я стала по всякому пустяку плакать. Распустилась. Марк прибегает с работы, спрашивает: «Как ты себя чувствуешь?» — а я начинаю плакать. «Ты чего плачешь?» — «Раз ты спрашиваешь, как себя чувствую, значит, я плохо выгляжу». Он мои слезы близко к сердцу принимал.

Как-то я проплакала все воскресенье, и Марк отправил меня к невропатологу. Невропатолог, старичок с седой бородой, оказался еще дореволюционным врачом. Он осмотрел меня и начал выписывать лекарства. Один рецепт выписал, второй, третий… Я говорю: «Доктор, и это все нужно пить?» — «Да, нужно», — и выписал четвертый рецепт. «Доктор, так много?» — «Да, все эти лекарства нужно пить». — «Доктор, а можно их не пить?» Он посмотрел на меня внимательно — и говорит: «Можно. Выберите слово и, как плакать захочется, повторяйте его». Я так и сделала. Как только плакать хочется, начинала повторять про себя «капризуля» — и слезы останавливались.

Когда схватки начались, Марк по пять раз в день прибегал с фабрики. Соседка каждый раз говорила: «Рано, рано». Марк прибежит, мне больно, он говорит: «Давай я тебе анекдот расскажу». Расскажет — и опять на работу. На второй день соседка сказала: «Пора». И Марк повел меня в роддом. Роддом был под мостом через Яузу, от Барабанного переулка идти минут пятнадцать. Пройдем немного — у меня схватки, остановимся. В больнице я еще сутки промучилась. Через сутки начала в туалет бегать. Сестра говорит: «Эй, роженица, ты чего в туалет бегаешь?» — «Мне хочется». — «Тебе не этого хочется, это воды отходят, тебе на стол хочется». Воды у меня рано отошли, и я дальше мучилась. Наконец, положили меня на стол, а напротив еще три стола стоят. На одном лежала роженица, на которую доктор все время кричал: «Пятые роды, а тужиться не умеешь!». Потом я увидела, как он руку в нее засунул до локтя. Меня такой ужас охватил, что я стала тужиться, тужиться…

Тяжело родился первый мальчик.

Марк в роддом по многу раз в день бегал. Два раза в день на стене списки вывешивали, кто родился. На следующий день после родов Марк постучал в окно и записку прислал: «Уже записал: Розин Анатолий Маркович». Насчет имени мы заранее договорились, в память о Луначарском — я его очень уважала.

Вскоре после того, как я вернулась из больницы домой, приехала мама Марка. «Как назвали?» — «Толя». — «Ах, какое хорошее имя — Нафтолий[5]!» Через несколько дней я решила сделать Марку приятное и предложила, чтобы его мама пожила с нами в Москве. А Марк сказал: «Мама — человек с характером, что-нибудь будет не так, а мы с тобой живем душа в душу. Пусть уезжает». Вскоре после этого мама говорит: «Гедочка, мальчику нужно обрезание сделать». Я говорю: «Не надо». Я этого не понимала — я знала, что обрезание делали народы, которые жили в жарких странах, а у нас баня, гигиена, каждый день ребенка купаем. Она начала настаивать. Я сказала: «Марк в партии состоит, у него проблемы могут быть». Она сказала: «Сделаю сама, ничего не будешь знать».

Мама уехала, когда Толе было две недели. И он начал кричать. В 12 ночи заходится и кричит до 7 утра без перерыва. Всю ночь я ношу его на руках, пытаюсь кормить, по десять раз перепеленываю, а он кричит. «С ним что-то не в порядке, — говорит Марк. — Нужно врачу показать». Принесла его в поликлинику, а он молчит. Днем он вел себя как обычный младенец: спал, ел, капризничал недолго. Мне сказали: «Женщина, у вас здоровый мальчик». Ночью опять кричит. Я неделю выждала и снова пошла в поликлинику. Молчит, днем

никаких следов ночных криков не видно.

За сутки я спала, может быть, несколько часов. Под утро Толя уснет — и я с ним. А потом весь день крутишься по хозяйству: пеленки стираешь, еду приготовишь, уберешься — все это между кормлениями — и уже не до сна. Когда я в четвертый раз пришла в поликлинику, сестра меня пожалела: «Ладно, женщина, приду к вам домой ночью, посмотрю; может, вы что не так делаете». Ночью сестра пришла к и — Толя спит. В 12 проснулся и начал кричать. Я кормить пытаюсь, качаю — а он все кричит. Сестра сама на руки взяла, ходила-ходила с ним, а он кричит. Сестра выдержала до двух ночи. «Да, — говорит, — вижу, вы не обманываете», — больше не стала ждать и ушла. Отправили нас к невропатологу.

Он осмотрел, какие-то капли выписали — а от них толку никакого.

Толя зимой родился, а к лету папа говорит: «Давай я дачу сниму. Ребенку чистый воздух нужен». Снял дачу недалеко от Москвы — поехали папа, Дора Яковлевна, Любушка и я с Толей. Шурочка уже в институте училась, а у Марка вечерняя учеба была, он не успевал на дачу приезжать. Всю первую ночь Толя кричал. Утром Дора Яковлевна встала, голова платком замотана — мигрень. А ей на работу. Я забыла предупредить, что Толя кричит. На следующую ночь Толя опять свою песню завел. Час ночи — он кричит, два часа — кричит, три часа… Вдруг дверь открылась, вбегает папа. «С младенцами не умеешь обращаться!», — кричит, вырвал у меня Толю и стал его трясти. Ходит, трясет, а Толя еще громче кричит. «Папа, папа, у него нервная болезнь, его трясти нельзя!» — «Ты еще будешь мне указывать — я пятерых детей вырастил!» Час он его тряс, а Толя еще сильнее от крика заходится — и все тут. Папа не выдержал, бросил Толю мне и ушел.

После дачи папа подключился к лечению. Нашел лучшего в Москве профессора. Профессор осмотрел Толю и сказал: «Сделать ничего нельзя. Ждите. Может, к двум годам пройдет. А может, к трем». Случай был редкий, и профессор захотел показать Толю своим студентам. Мы пришли в большую аудиторию, скамейки спускаются амфитеатром. Вынесли Толю на кафедру, положили на стол. Профессор развернул его, всем продемонстрировал и стал его болезнь описывать. Назвал болезнь на латыни — а Толя в подтверждение его слов пустил фонтан и оросил халат профессора. На этом лекция и закончилась. А по ночам Толя продолжал кричать. Я уже перестала его носить: носишь, не носишь — все равно кричит. Даже иногда кемарить стала под его крик. А Марк вообще научился спать.

Как-то, когда Толе было два года, я проснулась в холодном поту, в ужасе: кажется, что-то случилось, катастрофа, а что — понять не могу. Прислушалась — и поняла: нет крика. Мне страшно стало. Только хотела Толю потрогать, а он завопил. Уф, славу Богу, успокоилась. На следующую ночь опять пару часов поспал. Так с каждой ночью все лучше, лучше — и к трем годам стал спать спокойно.

Второй сын, Вадик, легче родился. В год, когда я была беременна Вадимом, советский самолет первый раз пересек Атлантический океан, и в Измайлово была публичная лекция на открытом воздухе, посвященная этому событию. Много народу собралось, сидели на скамьях. Штурман пришел. Территория, где читалась лекция, была огорожена. И вот после лекции народ повалил к выходу, мы с Марком тоже встали, пошли — и вдруг у меня отказали ноги, и я, как соляной столб, остановилась — не могу сделать ни шагу. Марк говорит: «Я побегу звать доктора». Я ему: «Стой, стой». Народ останавливается: «Что стоите?» — «Женщина беременная, ей плохо…» — «Может, машину нужно?» Не знаю, сколько я стояла — может, пять минут, но мне казалось — бесконечно долго. А потом я стала приходить в норму. Говорю: «Марочка, оживают ноги», — и мы пошли домой. Толя в детском саду на даче был, мы дома одни. Тогда уже радио появилось, музыка играла, я стала двигаться, разыгралась, и мы с Марком начали танцевать. Поздно спать легли, а в 4 часа утра я Марка разбудила: «Марочка, вставай, начинается…» Вадим быстро родился.

Это было летом. Толе уже 3 года, и мы отправили его на лето в садик за городом. В августе Марк поехал за Толей и привез его. Как Толя увидел Вадима у меня на руках, так вся радость у него сразу испарилась, он насупился, стал диковатый. Ну, я ничего не сказала, положила Вадика в кроватку, а сама отошла. Стала незаметно наблюдать. Сначала Толя сидел насупившись, демонстративно отвернувшись. А затем, вижу, подошел к кроватке и начал рассматривать. Вадим не спал, ручками-ножками махал, смешно так — как только младенцы могут. Толя смотрел-смотрел, затем взял Вадима за ножку и засмеялся.

Вадим ночами спал — дал маме отдохнуть. А когда война началась, все переменилось: Толя стал спокойным, помогал, а Вадик плакал, капризничал, ночами не спал.

Наши будни

В нашей квартире 25 комнат, два туалета, санитарные

условия — никакие: умывальник в конце коридора, два рожка, корыто — там и посуду мыли, и лицо, и руки. Керосинка стояла в коридоре. Однажды в воскресенье я не успела утром кашу сварить, убежала взять работу. Прибежала запаренная, а Марк стоит, одной рукой ребенка держит, а другой кашу мешает — а она из кастрюли выливается. «Ты что сварил?!» — кричу. «Манную кашу… Вот — манку насыпал, воды налил, а она разбухает и разбухает…» Потом Марк всему научился. Старалась в выходной приготовить суп на два дня — больше нельзя: холодильника не было.

Рядом с Барабанным переулком находилась площадь Журавлева. Я знала ее, как свои пять пальцев: через нее водила детей в детский сад. На площади был театр, рядом — Дворец пионеров, еще немного ближе к Семеновской улице располагался ЗАГС, в котором мы через 15 лет уже после войны расписались. Дети были малые, а нам хотелось в театр. Мы их уложим спать — Толя на диване, Вадим в кроватке — и спешим в театр. В антракте бежим детей проверить. Прибежим, посмотрим через окно (комната на первом этаже) — вроде все тихо, все спят — и обратно бежим. Нас все контролеры знали. Потом Марку на работе дали абонемент в Большой театр, ряд 14 — мы ходили, наслаждались. На Михоэлса ходили, я по-еврейски плохо понимала — Марк мне переводил.

До войны у меня были мигрени. Первую мигрень я запомнила: мама решила первый раз отметить мой день рождения, сшила мне белое платье. Я так ждала этого дня, перевозбудилась — а ночью началась ужасная головная боль. День рождения пришлось отменить. Начиналось это состояние чаще всего ночью: я просыпаюсь, в глазах мельканье, глазное яблоко крутит, висок болит… Врачи долго не могли определить, что это такое, — потом один пожилой врач сказал мне: «У вас классическая мигрень».

Помню, мы с Марком как-то пошли в Большой театр. Опера. Я чувствую, что начинается мигрень. Сижу, стараюсь перебороть, положила руку на подлокотник. И вдруг старик, который рядом сидел, палкой придавил мне руку. Боль была такая, что я потеряла сознание. Марк увидел, что со мной что-то не так, бросился мне помогать, но тут я очнулась — а мигрени больше нет.

Во время войны мигрень не приходила. После опять началась, но я уже научилась бороться: посижу полчаса с закрытыми глазами — и мигрень постепенно уходит.

Жили мы по-спартански. Косметику я никогда не использовала — еще со времен коммуны считала ее мещанством.

Да Марк такие мелочи и не замечал. В 37-м году у меня были короткие волосы, и я решила — чуть ли не первый раз в жизни — пойти в парикмахерскую, чтобы постричься и уложиться перед 7 ноября. У меня волосы густые, тонкие, волнистые — парикмахер работала над ними три часа. Вечером, уложенная, я пришла домой — Марк ничего не сказал. На следующий день был праздник, к нам пришли папа, Дора Яковлевна и Любушка. Все сели за стол в нашей маленькой комнатке, только Вадик еще был маленький, ползал по полу. Разговаривали, веселились, справляли 20-летие советской власти. Жизнь с каждым годом становилась все лучше, и мы надеялись, что так оно и будет. Дора Яковлевна обратила внимание на мою прическу и сказала: «Геда, как тебе хорошо! Делай так всегда». Поздно ночью гости ушли, мальчики улеглись спать, а мы с Марком стали мыть в тазике посуду. Марк спрашивает: «Гедочка, а о чем это Дора Яковлевна сказала: „Делай так всегда“?» — «О моей новой прическе. Ты что — не заметил?» Марк всплеснул руками: «Ой, Гедочка, и правда, у тебя же новая прическа! Как же я так, даже не заметил?!»

Ссорились мы редко. Марк всегда говорил спокойно, голоса не поднимал, во всем мне уступал. А я часто обижалась: мне с детства не хватало любви и ласки — я все же третий ребенок. Мальчики были более удачливые, способные, потом Шурочка — сестричка — появилась, она младшая — ее все любили… Мама туберкулезом болела и, зная свою болезнь, нас не особенно ласкала, только бесстрашно бросалась между детьми и отцом, когда он нас наказывал. Тетка холодная была, у нее ласки не дождешься. Дядя тепло, по-отцовски ко мне относился, любил меня на руках потаскать — но тут Лида ревновала, завидовала. Я, наверное, ждала этой ласки от Марка, потому и обижалась на него. А он — по характеру человек сдержанный — сказал мне как-то: «То, что я чувствую, словами передать не могу, но чувствую глубоко и сильно, можешь не сомневаться». А в основном он отмалчивался. Я видела: то сестричка-коммунарка ему на шею вешалась, потом женщина-инженер все время у нас толклась — но я Марку верила, ни на секунду в нем не усомнилась. А про себя поняла, что, если не хочу его потерять, мне нужно свои эмоции сдерживать и вкусы держать при себе. И я сдерживалась.

Марк был человек мягкий. Перед войной у нас домработница появилась — Марк требовал, чтобы она ела с нами за одним столом. Смотрю — как-то домработница грязные носки вместе с постельным бельем стирает. Я говорю ей: «Что же вы делаете?» А она отвечает: «Хочу, чтобы вы меня уволили, — Марк так мягко ко мне относится, что я сама уволиться не могу». Марк очень деликатный человек был. Если дело принципиальных вопросов не

касалось, он предпочитал промолчать. Ребята частенько тройки получали — я к Марку, жалуюсь: «Они же видят, как ты трудишься, — неужели не можешь им внушить?» А он отмалчивался.

Чтобы он на детей ругался, они уж совсем должны были расшалиться. Как-то уже перед войной я попросила Марка взять ребят в баню — большие уже мальчики, подросли, неудобно с женщинами водить. Он вернулся и говорит: «Ой, Геда, я даже и не понимаю, как ты справляешься: полы скользкие, мальчишки бегают, не слушаются — я сорвался, им наподдал».

Братья — Доля, Ирма, Сема

Доля, мой брат, — самый озорной и веселый из нас. С детства он был очень воинственный, пытался убежать в Америку. Я не видела его с 24-го года, когда меня забрала из Симферополя тетя. В 39-м году в воскресенье я на кухне мою посуду в лотке — и вдруг слышу мужские голоса, кто-то говорит: «Геда Семеновна Зиманенко», — и голос дворника: «Такая здесь не проживает». Опять мужской голос. И снова дворник: «Я точно знаю, такая здесь не проживает». Мужские шаги удаляются. Дворник не любил меня, я еще позже про это расскажу. И тут — ой! — я вдруг поняла: да ведь это Долина интонация! Бросаю посуду, бегу со двора, прыгаю через три ступеньки и вижу: удаляется мужчина. Я кричу: «Доля, Доля!» — он услышал и, как на пружине, повернулся и побежал ко мне. Мы не виделись 15 лет. Доля приехал в Москву в военный отдел кадров просить, чтобы его послали на Финскую войну. А у него уже начиналось легочное заболевание, как у мамы, в Симферополе ему не дали направление в действующую армию, — и он приехал проситься в Москве. Но ему и в Москве отказали, сказали: «Тебе надо лечиться, а не воевать». Доля заехал к отцу, а отец дал наш адрес. Марк дома был, я их познакомила, посидели, поговорили, Доля всплакнул, что на Финскую войну не пустили, и вечером уехал. Работал он где-то на Украине, женился на девушке Кларе — я ее никогда не видела, получила только одно письмо, узнала, что она беременна. А вот на Великую Отечественную войну его взяли. Там он и погиб. Про Клару и ее ребенка я ничего не знаю — искала их после войны, искала и не нашла…

Доля — Геде
Апрель 1941 г.
Коростень, Украина

Здравствуй, Гедушка!

…я пока живу неплохо, только здорово переработал. Клара, если бы не толстела по вполне понятной причине, была бы совсем молодец, но я на нее за это не сержусь — как раз наоборот.

Что касается меня, то мне скучать некогда. Работа сейчас интересная, руковожу учебой среднего комсостава запаса, вернее, занимаюсь с ними сам. Жизнь тут, по-видимому, дешевая — так говорят женщины, и я думаю, что они правы. В отношении культурных развлечений приходится довольствоваться только кино. Если же приезжают какие-либо театральные гастролеры, то обязательно такие халтурщики, что на порядочной сцене их бы гнилой картошкой закидали, а тут еще находятся оболтусы, что рукоплещут им до изнеможения. Так что хочу я посидеть в кресле театра им. Горького — когда мне наконец дадут отпуск и я приеду в Москву и обниму свою дорогую сестренку.

Твой братишка Доля.

Клара (жена Доли) — Геде
7 июля 1941 г.

Здравствуйте, дорогая сестра!

Получила ваше письмо, за которое благодарю. Доле немного неудобно передо мной, что ему не отвечают на его письма ни сестра, ни брат. Просто нехорошо так чуждаться. Это предисловие к вам уже не относится — вы все-таки поинтересовались нами, и я рада с вами поделиться.

Доля с мая месяца был в лагерях. В связи с последними событиями его полк приблизили к городу Золотоноша. Они находятся в лагере в мобилизационной готовности к выезду на фронт, ждут на днях приказа. Очень уж неприятное и болезненное время для всех и в частности для меня. Немало трудностей мне предстоит, но я готова все это пережить, лишь бы он вернулся невредимый, — одна мечта, одно мое желание, чтобы только исполнилось. Конечно, нужно добавить: с победой над врагом. Лично о себе я уже забыла и думать, хотя, как вам всем известно, мы ожидаем ребенка. Скоро даст о себе знать наш наследник, но в очень тревожный час. Ну что же, остается жить с надеждой, что все будет

хорошо…

Младший брат Марка Ирма приехал в Москву, когда мы еще жили в коммуне. Пожил у нас в коммуне неделю и поступил в пединститут, переехал в общежитие. Когда учеба закончилась, Ирма пришел и рассказал: «Ребята, я закончил институт, у нас было распределение, и я сказал: посылайте меня в самое тяжелое место». Ирму направили в Тайшет, маленький городишко на Севере, директором техникума. Он писал: «Марк, не знаю, что делать, как принимать это хозяйство, когда ничего нет — ни учебников, ни педагогов». А через год пошли тревожные письма: «Марк, мне очень надо с тобой посоветоваться». Чувствовалось, что он как на горячей сковороде. А Марк ничего не понимал и не реагировал.

….Мы все слепые были. И отца моего арестовывали — 6 месяцев держали. Мы знали, что Анисим Антонович — мой дядя — сидит. У нас поляк одно время жил — он с Марком партийные курсы кончал; он из Польши бежал, когда компартию разгромили. В 37-м его с работы выгнали, он заболел, лежал у нас неделями и ждал, когда его арестуют — так и случилось. Сейчас я уже понимаю, что Марк страшно беспокоился за нас и потому молчал: он моему отцу характеристику для принятия в партию давал, а того арестовали; поляка, который у нас жил, арестовали; моего дядю арестовали. Мы все «Правду» читали, радио слушали, а там без конца говорили про врагов народа. Мы идейные люди, мы строили коммунизм, и идея была выше всего. Работа забивала собой все на свете. Марк закончил два факультета — исторический и редакторский. Он неимоверной трудоспособности человек был: остался ящик с конспектами, которые он писал, — я этот ящик поднять не могу. Он стенографировал с такой же быстротой, как говорил: лекцию слушал — и сразу записывал. Марк учился всю жизнь. После войны закончил высшие курсы командирского состава. Работал, учился, воевал — и ничего не понимал, отказывался обсуждать. Когда дядю арестовали второй раз, в 37-м году, я говорила Марку: «Он не может быть виноват, я жила в его семье», — а Марк отвечал: «По-видимому, ошибка. Разберутся». А что расстреливают, нам не сообщали. Только в 50-е годы наша психология стала меняться, когда начали из лагерей выпускать. Пришли два бывших сотрудника Марка, которые отсидели по 20 лет в лагерях. Для Марка это было потрясение. Потом доклад Хрущева на XX съезде партии. Марк говорил: «Гедочка, какой ужас, я не могу поверить…» Это было так тяжело, что я старалась эту тему не поднимать, щадя его чувства. Все наши идеалы рассыпались в прах. В 30-е годы был очень тяжелый быт, и это

казалось естественным — не оставалось ни минуты посидеть, поговорить по душам, все о чем-то незначительном говорили, а что вокруг происходит, как бы не замечали. «У Толи пальтишко тоненькое, мерзнет он, а мне материал дали, давай сошью ему пальто… а еще у него ботинок нет…» Так и разговаривали, когда время выпадало. Другие люди раньше задумались, а мы неглубокие — до 56-го года так ничего не понимали…

В последнем письме Ирма писал: «Меня прочат заведующим районо в областной город, а я боюсь как огня, не хочу, ушел бы в армию — Марк, мне нужен твой совет». Он чувствовал, что над ним висит дамоклов меч. А мы ему ответили что-то обычное, как бы и не заметили. У нас дом, хозяйство, у Марка партийные дела, на фабрике, где он работал, госзаказ пришел: занавес в Большой театр с колосьями выткать — очень сложная работа. Сталин собирался театр лично посетить, спешили. Еще Марк школой рабочей молодежи руководил, лекции читал. Звонит мне: «Гедочка, сегодня детей забрать из садика не могу — у меня партсобрание», — а я капризничала: «И у меня работа!..» Каждый в своем соку варился, а мольбу Ирмы о помощи не заметили. А потом письма от Ирмы исчезли: мы пишем — а он не отвечает. Марк запросил Тайшет — и ему ответили, что Ирма Розин арестован — и всё. Ни причины, ничего… Марк написал отцу, Абраму. Тот приехал из Рудни и сразу поехал в Тайшет. Вернулся белый как лунь, они по-еврейски говорили, и Марк переводить мне не захотел. Ирма — из четырех братьев самый мягкий, самый нежный мальчик. Я с ним немного жила, пару недель только, — но сразу видно, что за человек, и даже по почерку видно: интеллигентный почерк. Марк был сдержанный, а Ирма — открытый, добрый мальчик. Только через месяц Марк признался мне, что ему сказал отец: арестовали за растление малолетних. Как отцу было услышать такое? Кто это подстроил? У евреев правила очень строгие, такое невозможно… В 60-х годах мы реабилитацию получили — там написано: расстрелян за участие в белогвардейском движении. А ему-то во времена белогвардейского движения и 10 лет не было. Если бы отцу так объяснили, ему хоть немного легче было бы… И мы молчали, никогда с Марком Ирму не обсуждали. Что он думал, я не знаю…

В первые два года совместной жизни, еще до рождения детей, с нами жил брат Марка — Сема. Сема — «Шлема», «шлимазл» — по-еврейски «бестолковый, неудачный». Сема был предоставлен сам себе. Я пыталась приучить его к чтению — а он не хочет. Посоветовались с Марком — стали вслух читать, и он заинтересовался. Потом Марк устроил его в училище, и Сема получил койку в общежитии. Часто к нам в гости приезжал. Когда

Финская война началась, его мобилизовали. Мы посылки слали, писали письма. Во время Финской войны цензуры еще не было, и письма были очень тяжелые. Сема писал: *«Финны воюют не по правилам, если бы они воевали по-человечески, мы бы с ними разделались под орех. Мы не знаем, откуда они стреляют, снайперы нас косят, от роты осталось два человека»*. Сему ранили, он лежал, лечился, написал, что его обещают пораньше демобилизовать. А тут Великая отечественная война началась — и он домой так и не вернулся. Вместе со своим полком пошел на Украину и отступал до Севастополя.

В одном из писем Сема написал: *«Моя дурочка ко мне в больницу приезжала, когда я раненый лежал, говорит: давай сделаем ребенка; я ей говорю: не надо — а она не послушалась; Геда, у меня где-то сынок растет — возьми мой чемодан, там адрес есть, напиши им»*. Когда я это письмо получила, война уже началась. Такая каша заварилась! На работу хожу каждый день, бомбежки, душа разрывается, дети за городом в детском саду, а оттуда немецкие самолеты на Москву прилетают, ночую на работе, все из памяти вылетело… Так я ничего Семиной жене и не написала — даже имени ее не запомнила. Теперь уже и не найти ни ее, ни ее ребенка…

Сема в Севастополе погиб. Последнее письмо я от него получила: *«С именем Сталина защищаем последние камни Севастополя»*.

Сема Розин — Марку и Геде
9 марта 1940 года (Финская война)

Здравствуйте, Марк, Геда, Толя и Вадик.

С приветом от Семы вам. Я вчера получил вашу посылку, за которую вам большое-большое спасибо, что вспомнили меня. Ибо здесь из таких вещей нет ничего. У меня новостей пока нет никаких. Жив и здоров. Нахожусь сейчас в 4 км от города Выборг. Думаем на днях в нем побывать. Сейчас финнам дают жизни вовсю, чего они и заслужили. Знаешь, какой метод войны у них чудной? Все из укрытия бьют, из-за дерева какого-нибудь. А в чистом поле они вовсе боятся показаться, а то бы им давно конец был. Ну, больше писать вам нечего, ибо я сам ничего не знаю. Пишите мне почаще — хоть веселей немного будет. Оставайтесь живы и здоровы.

Ваш брат и дядя Розин Сема.

…Четыре войны на моей жизни: империалистическая,

гражданская, Финская и Великая отечественная…

Часть VII

Начало войны

В июне 41-го года я была в санатории, лечила язву. Дети с детским садом уехали, а Марк оставался в Москве, работал. 21 июня, в субботу, я вернулась в Москву. Марк встретил меня у поезда — вижу, что уставший, но рад моему возвращению. Я говорю ему: «Марочка, странно так — я тревожусь: военные обычно вежливые, воспитанные, а тут всю дорогу в поезд без билетов садились, проводниц отшвыривали и в вагон лезли». Он ответил, не задумываясь: «Летние месяцы, военные домой в отпуск едут, железная дорога, как всегда, не справляется», — так легко, спокойно сказал — моя тревога и ушла.

Мы пришли домой в Барабанный переулок, и Марк говорит: «На электроламповом заводе сегодня будет открытое партийное собрание, пойдем». Была уже середина дня. Детей нет, мы одни дома, впереди воскресенье — редко так бывало. Я ничего делать не стала, просто посидели, поговорили, а вечером пошли на собрание. Зал большой, доклад делал военный — генерал, со шпалами в петлицах. Рассказывал о международном положении, сказал, что у нас все хорошо, мир прочен, с немцами пакт о ненападении, так что беспокоиться не о чем. Его засыпали вопросами: почему немцы стоят на нашей границе, почему провокации? А он ответил: «Мы с немцами дружим, они нам помогают техникой, мы им хлебом, и все это я точно знаю». И в конце он сказал с пафосом: «На нашей земле войне не бывать», — и эти слова я потом вспоминала всю войну, и стали они для меня черными словами…

Мы успокоились, пришли домой и легли спать. Спали хорошо. Утром Марк говорит: «Гедочка, у нас дома хлеба нет — забыл купить, пока ты в санатории была. Я схожу в магазин». — «Иди». А я стала пол мыть: целый месяц женщины дома не было — пыль всюду, пол месяц не мыт. Включила радио — передавали музыку. Я рада, что домой вернулась, что Марк рядом, музыку слушаю, на душе хорошо… И вдруг музыка прерывается — «экстренное сообщение», Левитан. И тут возвращается из булочной Марк — без хлеба, вид растерянный, недоуменный: «Гедочка, не могу понять, в чем дело: жуткая очередь, все молчат, покупают хлеб мешками… Я помыкался и ушел, обойдемся пока». И тут опять радио, и уже выступление Молотова: «Сегодня, двадцать второго июня, в 4 часа утра, без объявления войны,

германские войска напали на нашу страну…»

И сразу, как он закончил, в коридоре шум, беготня, коридор длинный — кто-то бежит и кричит, и такой ликующий звук!.. Мы выглядываем за дверь — а у двери листовка «Бей жидов — спасай Россию». Вот почему офицеры в поезд без билета садились: знали уже. Уже крепость бомбили, города бомбили, предатели появились, которые все знали и листовки бросали, Сталина не боялись, не скрывались. До войны мы забыли о национальностях — все вместе интернационалистами были, ни разу нам с Марком не напомнили, что мы евреи. И вот в первый день войны мы узнали, что мы жиды.

Ну, тут мы, конечно, про хлеб забыли. Марк сказал: «Пойду на комбинат, надо думать, что делать». А там уже партсобрание, он был член бюро и председатель местного комитета. Марк ушел, а мне на работе делать нечего — воскресенье. Я мыкалась, места себе не находила, комнату в порядок привела, покушать приготовила… На комбинате никаких указаний не дали, кто остался на работе, кто пошел на призывной пункт, а Марк как представитель партии поехал в Апрелевку к детям в детский сад. Дети жили в легких деревянных домиках, и Марк дал распоряжение на случай бомбежки рыть траншеи. Детям решили про войну пока не говорить, не пугать.

На следующий день, в понедельник, я вышла на работу — я тогда работала в отделе капитального строительства авиазавода. В первый день была объявлена мобилизация, но ограниченная. Несколько мужчин из отдела капитального строительства ушли — на их место взяли женщин. Я помню, что я электроподстанцию проектировала. Нас, женщин, подчинили отделу противовоздушной обороны — мы распределили дежурство и продолжали работать.

Каждое утро мы с Марком уходили на работу и не знали, увидимся ли еще. На третий день я пришла вечером домой, а Марка нет. Зашел сослуживец и сказал, что прошла комиссия и Марк мобилизован. Как-то за полгода до войны у Марка на работе начался приступ аппендицита, его взяла «скорая» и повезла в больницу — но он упросил проехать мимо дома и в форточку кинул записку, чтобы я вечером узнала, где он. А в этот раз ни записки, ничего я от него не получила…

В тот же день ко мне пришел дворник дядя Петя. Он меня никогда не признавал; в 39-м Доля приехал — так он ему сказал, что Геда Семеновна тут не проживает. К Марку он хоть какое-то уважение проявлял (все-таки замдиректора), называл его по имени-отчеству. Бывало, вечером без стука откроет дверь и говорит: «Марк Абрамович, вы в сортир не собираетесь? …Ну,

тогда я пойду, с газеткой посижу». Вечером того дня, как Марк не пришел с работы, дядя Петя открыл мою дверь и говорит: «Ты эти фотографии сними и книжечки красные убери: немцы придут — я за тебя заступаться не буду». Ну, я, конечно, ничего не сняла и не убрала.

Уже начали бомбить Москву, уже на углу Арбатской площади дом разбомбили. Какие-то здания закрыли маскировкой, а наш дом так стоял. С августа я стала дежурить на кровле, нам выдали багры и песок — зажигалки засыпать. Они, черти, знали, где какое здание: на электроламповый завод бомба упала, на наш завод упала.

Войну мы жили письмами. Как отчаянно писали мы с Марком друг другу в первые дни и недели войны! Писали, слали телеграммы, не понимая, что в хаосе войны письма будут идти дольше, чем раньше, и с перебоями. Первое письмо от Марка я получила только через месяц — 28 июля. Как долго тянулись первые дни и недели войны! Безумная тревога лежала на сердце. Ничего не известно — где Марк, где родные, что с нами будет… Пишешь в пустоту. Не сразу стало понятно, что война надолго.

Марк — Геде
6 июля 1941 г (получено 28 июля)

Гедочка, моя дорогая, милые мои детки Толик и Вадя. Совсем недавно я уехал от вас, но как бы я хотел вас видеть, обнять и целовать. Дело в том, что сегодня уже 6 июля, а я от вас ничего не получал. Я знаю, что сюда идут письма долго, но, Гедочка, меня страшно волнует, как у вас там и как с детьми. Что мне писать о нашей жизни? Много занимаемся и немало устаем. С 6.30 до 11.30 вечера загружены до основания. Первые дни были особенно тяжелыми, но теперь начинаем привыкать. Здесь стоят сухие жаркие дни, а мы весь день на солнце в поле. Вначале казалось, что не выдержу такого напряжения. Сейчас чувствую себя хорошо, от других не отстаю.

Принцип занятий суворовский: тяжело в учении — легко в бою. Читаю боевой устав пехоты РККА…

Написал в Рудню. Передай привет папе, Доре Яковлевне, Шуре. Будьте здоровы, желаю вам счастья.

Целую вас, Марк.

Геда — Марку
12 июля 1941 г.

Москва

Дорогой мой Марочка!

Девятого числа послала тебе письмо, но беспокоюсь, получил ли ты его, поэтому пишу опять. Дорогой мой, не волнуйся, если нет долго писем. Что бы ни случилось, буду писать тебе аккуратно, но знай, что даже пригородные письма идут 3–4 дня. Марочка, милый мой, живу совсем одиноко. Дети за городом, а у меня работа, занятия, вечером читаю. Хозяйством совсем не занимаюсь. В выходные была у ребят. Толечка спрашивает, почему папа обещал бывать часто, а не приходит. Я сказала, что папа уехал по делам службы. Думаю, что не стоит пока говорить детям про войну, как я наблюдала, они пока ничего не знают. В Москве жизнь идет своим чередом, на стройках и других участках молодые девушки-студентки заменили ушедших в ополчение… Марочка, милый мой, напиши, если нужны деньги, я вышлю. Пока, до свидания.

Крепко целую. Твоя Геда.

Марк — Геде
23 июля 1941 г.
Чебоксары

Гедочка, дорогая моя!

Я сейчас в карауле, только что вернулся с поста. Вся душа моя наполнена злобой против фашистских извергов. Сегодня передавали по радио, что бомбардировали Москву. Весь день я думаю про вас. Стоя на посту, я крепко сжимал винтовку и думал, что в это время, может быть, опять бомбят Москву. Нет слов, чтобы выразить ненависть этим убийцам. Но ничего, они получат по заслугам. Как бешеные псы они должны быть и будут уничтожены.

Сама понимаешь, что в такое время нужно чаще обычного сообщать о вашем здоровье…

Геда, еще не отправив письмо, узнал, что Москву бомбили еще 3 раза. Ты можешь вообразить, о чем я думаю? Скорее напиши или телеграфируй про себя.

Марк.

Геда — Марку

28 июля 1941 г.
Москва

Дорогой мой любимый Марочка! Получила твое письмо от 6 июля. Мне так больно, так обидно, что ты, мой любимый, переживаешь и волнуешься совсем понапрасну. Знаю, как тяжело в такое время оставить семью и любимых и не иметь вестей от них. Дорогой мой, если б могла, послала бы по ветру свое сердце, чтобы дать тебе весточку, чтоб порадовать и подбодрить тебя. Сама я достаточно передумала, пока получила твое первое письмо. Вчера был выходной день, и я очень устала. Выносила все вещи во двор проветрить и высушить, чтобы моль не съела их, прежде чем разделаемся с Гитлером. Комната наша приобрела нежилой запах. Грустно быть одной со спущенными шторами и тревогой в сердце…

Славный ты мой, старайся по возможности не переутомлять свое сердце. Родной мой, пиши о себе подробней (конечно, что можно), чему вас учат, культурные ли командиры, где ты теперь. Каждое твое письмо — радостный солнечный луч.

Геда.

Выходные отменили, работали каждый день. Ночью я на кровле дежурила. Если нет дежурства, после работы ехала за город в детский сад: побуду пару часов с детьми — и домой. Всем противогазы выдали, велели держать около кровати, ждали газовой атаки. Окно я зашторила и уже не раскрывала ни днем, ни ночью.

Был такой смешной момент. Меня навестил папа и говорит: «Почему у тебя мясные талоны не отоварены, хлеб не отоварен?!» Я говорю: «Папа, я в столовой питаюсь, мне дома ничего не нужно». Он: «Так нельзя!» — взял мой талон, пошел и принес курицу. Я возмутилась: «Зачем она мне, что я с ней буду делать?!» — «Часть сама съешь, часть детям отвезешь». Ну, я положила курицу в кастрюлю и на плитку поставила — она у нас в комнате была, — а сама, уставшая, замученная, прикорнула на минутку и заснула. Просыпаюсь от удушья, первая мысль: немцы, гады, все-таки пустили газ! Хватаю противогаз и надеваю, как учили. И тут же мысль: дети, дети, у них в детском саду нет противогазов! Я сдергиваю противогаз: умирать — так всем вместе. И тут вижу через проем сияние — и до меня доходит: ведь это курица и кастрюля, как солнышко, сияет… Я выключила плиту, комната

вся в дыму — что делать? Открыть штору нельзя. Форточку открыла, ухитрилась — ночь тогда черная была, не как сейчас, — и дверь открыла, начала дым полотенцем выгонять. В 5 утра думаю: сейчас соседи будут вставать, надо дверь закрыть. И действительно: слышу — соседи ругаются: запах. А я сижу как мышка, на работу пока не выхожу.

Марк — Геде
5 сентября 1941
Чебоксары

Дорогая моя Гедочка,

Мы еще на старом месте. Как говорится, «сидим на чемоданах» и ждем направления. Свое барахло приказали отослать домой, я вчера отправил посылку. Но ты особенно не жди, она может идти пару месяцев. Сегодня долго любовался на фото, где я снят с детишками. Очень жалко, что там нет тебя. Как мне хочется хотя бы на час-два увидеться с вами — прямо представить себе не можешь.

В последнее время я получил от тебя несколько писем — и месячной давности, и свежих.

Я очень доволен, что ты ведешь себя как следует, спокойная и выдержанная. Это вселяет в меня новые силы. Будь уверена: когда придется мне быть в бою, то буду достойным членом партии Ленина — Сталина. Иначе быть не может.

Как бы то ни было, но мне кажется, что поедем на фронт через Москву и увижусь с тобой. Никогда у меня не было такого сильного желания повидать тебя и детишек…

Весь сентябрь я на рабочем месте. Через ночь дежурю на крыше. Немцы засыпали Москву «зажигалками». У нас стояли бочки с песком, нам дали багры — мы сбрасывали бомбы с крыши и обсыпали их песком. Один раз я две «зажигалки» сбросила, другой раз одну. От Марка получаю письма — он пишет, что в учебной части, занятия круглые сутки, учится на танках. Насчет бомбежек я ему не пишу. И как-то на работе мне говорят: «Геда Семеновна, вас в проходной военный ждет». Выхожу с трепещущим сердцем. Секунду смотрю растерянно — и вдруг голос: «Гедочка, ты меня не узнаешь?..» Бог ты мой! Не узнала Марка — почернел, исхудал, как будто подрос. «Марочка!!!» — «Я на один день, командирован на обмундирование». Все эти месяцы не обмундировывали, сперва сам учился, потом начал с

новобранцами занятия проводить — сначала в поле, потом в походах — и вот только сейчас послали на обмундирование. Побежала к начальнику: «Муж приехал на один день — пожалуйста, отпустите!» — «Ну, ладно, — говорит, — идите». Пришли домой, перекусили, смотрим друг на друга, говорим, говорим… И вот спать легли. Сирена, начинается налет — мы дома остались, в укрытие не пошли. Окна зашторены — но по слуху, по нашим зениткам ориентируюсь, где бомбят. Бомбы в этот раз совсем близко сбрасывают — похоже, бомбят электроламповый завод. Взрыв — наш старый кирпичный дом вздрогнул. И тут — я никому это никогда не рассказывала — Марка начало трясти, у него нервная система тонкая. «Гедочка, и часто так бывает?» — «Каждую ночь». — «Как ты это переносишь?» До Чебоксар немецкие самолеты еще не долетали, и Марк первый раз слышал бомбежку. Стыдно ему: он, мужчина, военный, дрожит, а я, женщина, его успокаиваю — никому я этого не рассказывала.

У меня, видимо, нервная система необычная: из за пустяков могла плакать, переживать, а когда что-то серьезное, я остаюсь спокойной, разум не теряю — повезло в жизни в этом отношении. Я часто вспоминаю и думаю: как я все перенесла? Перенесла. Бесчувственная я, что ли? Всю ночь мы были вместе, не заснули, Марк рассказывал про обучение: дорог нет, машины вязнут в грязи, Америка еще не помогала, в первые месяцы войны мало что из военной техники было. Необуты, неодеты, техника в грязи вязнет, да и мало ее. Все тогда работали: дети на завод приходили, им скамеечку подставляли — и они на станке работали.

Наутро Марк ушел.

Он на фронт просился, но у него клеймо было: брат, Ирма, репрессированный — все это не в его пользу. Марк грамотный, технику знал досконально, образование получил в университете Свердлова — его и оставили новобранцев танковому делу учить. Марк трижды писал, чтобы его взяли в действующую армию, его вызвали и сказали: «Больше не пишите, вы здесь нужны». До конца своей жизни он переживал, что не сражался на передовой.

Через день после работы я еду к детям на дачу. Обслуживающий персонал меня успокаивает: «Геда Семеновна, не волнуйтесь вы так — все нормально! Еще Марк Абрамович велел щели вырыть; как самолеты начинают лететь над нами — мы бежим с детьми в щель и пережидаем». А я думаю: нет, надо забирать детей. В воскресенье отпросилась с полудня и поехала за детьми. Половину вещей не нашла, но детей взяла и уехала. Ночью детей к себе в постель положила — они и рады, по маме

соскучились. А утром обоих с собой на работу взяла. Днем мне рассказали, что как раз в эту ночь в Москве начала нормально работать противовоздушная оборона, немцы не сумели приблизиться к городу и сбросили бомбы в Подмосковье около детского сада — домики развалились, дети в щелях выжили, страшно было, плакали.

Я не могла каждый день с детьми на работу ходить, попросила направление в далекий детский сад — в Куровском районе — там все же спокойнее, от Москвы подальше. Брат Сеня помог, Толю и Вадика отвезли.

На улице холодно стало, пошли дожди — отопление ни на работе, ни дома не включили.

Авиазавод, где я работала, начали эвакуировать. Вывозили оборудование. Что-то увезли, а кое-что под бомбежки попало. Директор завода куда-то исчез — уехал с семьей и не сообщил куда. Тяжелое было положение: никто не знал, что ему делать. Постепенно и люди стали уезжать. Предприятие военное, рабочие получали бронь и перебазировались с семьями, детьми в Безымянку — станцию под Куйбышевом.

Геда — Марку
5 октября 1941 г.

Дорогой мой Марочка. Только что пришла с дежурства. Одиноко и холодно дома. Холодно, тоскливо и на работе. Рассчитываю, что 12-го буду у детей. Радует, что у них тепло, что они сыты. Я уже писала тебе, что ходят замарашками. Не одни наши, а все дети. Немногие мамы могут приехать и помочь персоналу детсада. Пугает меня, что у большинства детей какой-то неприкаянный вид, слоняются, редко услышишь смех. Персонал, как и все, в растерянности.

Дорогой мой Марочка, в эти дни пишу тебе ежедневно. И ты продолжай писать мне без перерыва при всех обстоятельствах…

Хорошо, что ты написал мне относительно денег. Ты знаешь, ведь я, даже с тобой, не люблю говорить на эту тему, но сейчас я вижу, что без твоей помощи не протяну. Те, что ты оставил, когда был в Москве, я еще не трогала. Я думаю, что мне будет довольно 300–350 рублей. Не урезай себя, не экономь слишком.

Славный ты мой, родной Марочка, извини за очень сухое письмо. Я сейчас полна всевозможных сомнений, это очень тяжело. Крепко, крепко целую тебя.

Геда.

Самый страшный месяц был октябрь. Мы получили сообщение, что немцы начали бомбить Куровской район — там, где детский сад. Нам объявили: в связи с обострившейся обстановкой в Куровском районе детей везут в Москву; у кого есть дети — ждите, к десяти вечера машины должны подъехать. Стемнело уже, мы, мамы, собрались у завода — тягостное ожидание. Десять часов вечера, одиннадцать, двенадцать — все ждут… Час ночи, Москва черная — ни одного огонька, вдалеке бомбежка. Среди родителей нарастает паника. Только во втором часу ночи начали подъезжать машины. Шофера рассказали, что дорогу бомбили и они поехали окружным путем, через лес, застряли в болоте — еле выбрались. Мы разобрали детей и пешком пошли домой. Спать легли на одну кровать — дети по мне соскучились. Утром нагрела воды и помыла детей в тазу.

Теперь я ходила на работу с детьми. Нет худа без добра: детсадовские дети вели себя на работе спокойно. Сотрудников осталось мало, но столовая еще работала — шикарная столовая была по тем временам, я сама ее проектировала. Мне выдали карточки на детей, и мы втроем ели в заводской столовой. Что в городе творилось, я не знаю — Барабанный переулок тогда был окраиной Москвы. Раньше во время бомбежек я оставалась дома — за себя не страшно. Теперь, с детьми, когда объявляли тревогу, мы прятались в метро Электрозаводская. Обычно это было вечерами или по ночам. Там на полу приходилось и спать. Однако бомбежки стали реже — наши научились подбивать немецкие самолеты, и те редко решались залетать в Москву. Ко мне подходили и спрашивали: «Геда Семеновна, вы будете уезжать?» А я боялась ехать — помнила, как мы, дети, остались в поезде одни, когда уехали из Харькова, — и не решалась в военное время ехать одна с двумя детьми. Сотрудница мне написала: жилья нет, всех расселяют в бараки, оставшиеся от заключенных, не езжай с детьми, подожди.

Пока завод работал, я чувствовала опеку. Потом закрыли столовую. У меня еще оставалось полбанки сливочного масла. А Вадим масло не ел, каши не ел — ничего клейкого. Если я варила манную кашу, он стоял надо мной и говорил: «Мама, только без комочков!» Манки уже не осталось, я отоваривала по карточкам хлеб. Приехал папа и сказал: «Геда, мои все уехали — и Дора и Любушка. И Шурочка с ними. Я тут из-за тебя торчу. Надо ехать — скоро в Москве не будет еды». Из нашего дома многие уехали, половина окон была заколочена. А я все ждала.

В октябре я получила письмо от Абрама, отца Марка, которое

он написал в первые дни войны. Дошло оно только теперь. Обычно Абрам писал по-еврейски, но тут он предполагал, что Марк в армии, и написал по-русски. Я запомнила слова: «Я не знаю, где мой сын Марк. Через Рудню на запад идут тысячи танков, и думаю, что, может быть, Марк в одном из них». Абрам писал: «Победа будет за нами!» — тогда ждали, что остановить немцев можно за несколько недель. Когда письмо дошло до меня, Рудня уже была захвачена немцами.

Абрам, отец Марка, — Геде
1 июля 1941 г.

Мои дорогие Марк, Геда и детки!

22 июня, когда началась война, Сима вам писала в ответ на ваши деньги и просила отвечать нам, как вы живете и как теперь с Марком — мобилизовали его или нет. Если Марка нет дома, Гедочка, пиши ты нам о нем, а если он дома, пусть сам напишет. Зяма и Сема оба на фронте, это мы точно знаем, а про Марка ничего не знаем. У нас эта неделя очень шумная, мы такого никогда не видели — по несколько тысяч танков и машин с войсками проходили через Рудню. Может, Марк в одном из этих танков. Победа будет за нами! Гитлера мы победим. Мы все здоровы, теперь болеть некогда, военное время. Будьте здоровы и счастливы.

Ваш отец Абрам.

Каждый день мы слушали Информбюро — новости с фронта. И вот в октябре передали, что немцы расстреляли всех евреев города Рудня. Родители Марка, сестра, все братья, кроме Ирмы и Семы, оставались в Рудне. Безумный страх вспыхнул в моем сердце. Сообщение промелькнуло один раз — и я молилась, чтобы Марк его не услышал.

Едем в эвакуацию

Окончательно я решила, что надо уезжать, когда увидела, как наши трудовые книжки понесли на улицу сжигать. Я поняла, что готовятся к приходу немцев.

Оборудование к тому моменту уже все вывезли. Объявили последний эшелон, я пришла записываться — а мест уже нет: начальство едет. Что делать? Папа подключился, начал искать. Папа очень коммуникабельный, нашел вагон какой-то из-под

известки, собрали других проектировщиков, которым мест не хватило, сами помыли, почистили, смастерили нары, папа печушку достал и договорился, что вагон прицепят к эшелону. Взяли мы чемодан с детским бельем и чемодан с моей одеждой. Постельное белье в прачечную сдали, а она уже не работала — так там белье и осталось. Посуду в ящик сложили. Два чемодана, ящик, хлеб, полбанки масла и швейная машинка «Зингер» — папа настоял, чтобы и ее взять, — вот наш багаж.

Перед отъездом пошла к дворнику Пете. «Дядя Петя, пожалуйста, если от Марка письма придут, пересылайте ко мне, вот адрес», — молила его. Он чего-то пробурчал. Ни одного письма я так от него и не получила. И мои перестали к Марку доходить. Полгода мы с Марком не получали вестей друг от друга.

Мы в теплушке на нарах. С нами папа. Эшелон последний, для начальства, и наша теплушка прицеплена сзади. Медленно тянется поезд, еле ползет, бомбят где-то. В основной части ехал Кац, начальник цеха, и его сестра, Ася, которая работала со мной проектировщиком. Она к нам бегала. Говорит: «Зима начинается, мы меховые шубы взяли, вешать некуда — постелили, спим на шубах, а в них вши завелись». Я говорю: «Славу Богу, у нас в теплушке ни шуб, ни вшей».

Для тех, кто ехал в эшелоне, было организовано питание, а мы были предоставлены сами себе. Спасал всю теплушку мой папа: на каждой остановке он выскакивал и что-нибудь покупал у колхозников.

Триста километров отъехали — состав стали бомбить. Осколок в теплушку попал, как раз в наш ящик с посудой — посуда разбилась, ложки, вилки выпали.

Вадику я хлеб с маслом мазала. А он плакал и говорил: «Мама, закрой масло!» Я вторым куском хлеба масло закрывала — и он ел.

Как-то раз поезд в поле остановился — а поле все в подсолнухах. Все, кто был в теплушках, бросились собирать, притащили подсолнухи — перезревшие, но вкусные.

Геда — Марку
28 октября 1941 г.
(написано в поезде)

Дорогой мой Марочка!

Вот уже 12 дней, как мы все едем и едем. Не знаю, когда будет конец. Стоим на станциях сутками, проезжаем в день по 40–50 километров. Сейчас мы уже

двое суток стоим в Батраках, за Сызранью. Из окна видна Волга. Под ногами в вагоне и на путях такая грязь, такой ужас и запустение, что становится страшно. Детей выпустить из вагона нельзя. Мы буквально обросли грязью. В особенности страдает от этого Вадик, и маме по этому поводу достается. Очень угнетает оторванность от мира, не знаешь, что делается на фронте, что делается в Москве. Газету мы достали пятидневной давности. Дорогой мой Марочка, еще и еще раз грущу о том, что выехала из Москвы. Думается, пусть лучше бомбы, пусть окопы, но дома. И там, в Москве, мне казалось, что я ближе к тебе, дорогой мой. Да, я даже уверена в этом. Сейчас чувствую себя никому не нужной. Не знаю, проявит ли о нас заботу завод. Ждем официального сообщения с завода. Говорят, холостым сразу дадут работу, а нас с ребятами расселят в районах, и будем там ждать — кто знает, когда вспомнят о нас. Как будем жить? С детским садом, кажется, безнадежно — так зачем же мы едем сюда?! Я думала, дети будут в саду, а я по-прежнему буду работать. Теперь мы никому не нужны. Уж лучше было умирать в Москве, чем скитаться где-то. Дорогой мой, я уже писала тебе относительно справки. Повторяюсь, потому что, глядя на все окружающее, думается, что и письма наши лежат так же неподвижно в ящиках, как стоят на дорогах машины, а на путях эшелоны. Опять и опять воскресают мои детские воспоминания и ужасы времен гражданской войны, когда мы, дети, остались в поезде одни. Так вот, родной мой, как получишь от меня адрес, вышли, пожалуйста, справку о себе. Сейчас без документов пропадешь…

Милый мой, как тяжко мне не знать, где ты, не знать, получаешь ли мои письма. Когда еще наладится у нас связь?! Дорогой мой Марочка, если мы все будем живы, если соберемся опять вместе, то в отношении меня и детей благодарить придется папу. До свидания, мой любимый. Крепко-крепко целуем тебя. Толечка и Вадик очень скучают без тебя. Вадик в особенности. Сердечный привет от папы.

Состав ехал в Куйбышев. Когда стали подъезжать, по вагонам пошли военные и объявили приказ: в Куйбышев женщинам с детьми въезжать запрещено, они должны высадиться на станции заранее, разойтись по колхозам и ждать вызова. Я была в отчаянии: хотела работать, да и при заводе надежнее. А что

делать? Сгрузились с вещами на станции, подводы подъехали и повезли нас в колхоз. Снег еще не выпал, а земля подмерзла, телега в грязи не вязла.

По дороге встретили подводы, которые везли на станцию мобилизованных крестьян. Их провожали жены — и они покрыли нас такой площадной руганью, что я в жизни не слышала: «Вы — дармоеды, хлеб наш едите, зачем наших мужиков на войну гоните…»

Деревня, в которую нас привезли, называлась Золотая Гора. Нас распределили по домам. Мы оказались в доме женщины с малым ребенком. Женщина поставит в печь чугунок пшена с молоком, ребенка на печь посадит — и бежит на работу в колхоз. Ребенок один на печи весь день сидит. К хате сарайчик пристроен вроде хлева, там корова стоит; навоз, солома свалена, там же и туалет для людей. Папа стал у нее молока просить. «А чем расплатитесь?» — говорит. «Вот, деньги у нас есть». — «Нужны мне ваши деньги!.. У меня их полный сундук — хату оклеить могу…» — «А что вы хотите?» — «Свитерок у вашего мальчика хороший, валенки хорошие — отдайте». — «Как же мы детей разденем?!» Так она нам молока и не дала…

Про молоко папа договорился в деревне. А хлеб по карточкам раз в неделю ходил получать на станцию. В одну из поездок, когда папа получил пару буханок хлеба, остановился военный состав и вышли размять ноги молодые офицеры — артиллеристы. Папа смотрит: Яша Заславский — племянник Доры Яковлевны, музыкальный мальчик — играл на пианино, рисовал, только-только закончил школу. Едет в действующую армию. Папа отдал ему буханку хлеба и пошел домой. «Гедочка, знаешь, кого я сейчас видел? Яшеньку». Это был последний раз, когда папа его видел — Яша прошел всю войну и погиб в самом конце.

Через две недели папа получил письмо со своего предприятия и собрался уезжать. Мне он наказал никуда самой не рыпаться, сидеть и ждать вызова с завода. Папа уехал, а я осталась с детьми одна. С папой было намного спокойнее. Меня спросили: «В колхоз пойдете работать?» Не хотела я в колхоз, не пошла. Да и детей боялась одних дома оставлять. Говорю: «К печке не подходите — обожжетесь. С мальчиком не общайтесь», — я видела, что у него вши. А вызова с завода все не было. Может, забыли про меня?

Геда — Марку
6 ноября 1941 г.
поселок Золотая Гора Куйбышевской области

Дорогой мой Марочка!

Канун праздника. Завтра 7-е ноября. Где мы встречаем этот день? Где ты, дорогой мой, что делаешь в это время, думаешь ли о нас, затерянный в великой и беспорядочной земле нашей? Где все наши родные и друзья, встретимся ли мы опять? Дорогой мой Марочка, постараюсь описать тебе, как мы живем. С 30 октября нас водворили в колхоз (далеко не гостеприимно, но это при встрече). Предложили устраиваться здесь и работать. Многие женщины приступили к работе в колхозе, но я не могу. Дорогой мой Марочка, ты знаешь, что я люблю работу и всегда плохо себя чувствую без работы. И все же в колхозе не могу. Чувствую, что это не по моим силам, не по моему здоровью, и вообще чувствую себя не на месте. Вселили нас в семью к женщине с ребенком. Муж на фронте. Тут все без мужей — у кого на фронте, а у кого в тюрьме. Ужасная матерщинница — я все смотрю на детей, ожидая от них того же. Здесь нас терпят — и только. С продуктами неважно, продавать на деньги ничего не хотят, а менять мне особенно не на что. Очень плохо здесь с дровами. Возят на себе хворост и ковыль из поля, а я плохая помощница в этом деле и потому чувствую себя очень стесненно. Здесь уже началась зима. Хата, в которой мы живем, имеет выход прямо на двор. Мерзнем.

Дорогой мой Марочка, не знаю, чем это поможет нам, но все же вышли о себе какую-либо справку.

Дорогой мой, кончаю это письмо в предутренних сумерках 7-го. Начала еще вчера, но мы сидим без керосина, и уже в 5 часов было совсем темно. Дети очень тоскуют о тебе, мой дорогой. Вадик часто заводит концерт «папа иди». Дорогой мой, пиши о себе.

Целую тебя. Геда.

Неделю я протянула без папы — и решила уезжать, не дожидаясь вызова. Хозяйка обрадовалась. Я договорилась в колхозе, чтобы дали телегу, загрузила свои три чемодана и швейную машинку, детей посадила — и так доехали до станции. Я решила ехать на свой завод. Работа была местом жизни, накоплений никаких не было, сберкнижки не было, жили от зарплаты до зарплаты, питались в заводской столовой и там же получали карточки.

До Куйбышева доехали без приключений. Прибыли уже вечером и пошли ждать пригородный поезд в Безымянку, где находился мой завод… На дворе декабрь — на улице холодно и

ветрено. К пригородным поездам вел подземный туннель. Там на полу все ждали поездов. А вверх шла лестница в здание офицерского состава. Когда я с детьми спустилась в туннель, был жуткий пронизывающий ветер. Все закрытые местечки у стены были заняты. Толя лег на чемодан и заснул, а Вадик капризничал, не спал. В это время пришли офицеры-летчики и спрашивают меня: «Вы на какой поезд? А, ну и мы на него. Можно возле вас чемоданы оставить? А мы вашего мальчика в офицерскую возьмем, пусть греется». — «Давайте». Офицер взял Вадима на руки и унес. Толя спит. Тут женщина рядом со мной говорит: «Ваш ребенок замерзнет во сне». Я Толю растормошила и стала с ним бегать по туннелю. Побегаем, посидим, холодно — опять бегаем. Слышу — наш поезд объявляют. Жду, еще жду — а офицеров все нет, и Вадика нет. Я нервничаю: где офицерская комната? куда бежать? как с чемоданами быть? Уже посадка заканчивается — тут офицеры бегут ко мне, говорят, что им жалко было мальчика на холод выводить и они тянули до последнего, хватают чемоданы и мчатся на поезд, не слушая моих благодарностей.

Приехали в Безымянку. Оставила чемоданы на вокзале, попросила присмотреть и пошла на завод в местком. «Как же так — с детьми приехали, вызова не дождались?!» Показали мне барак, в котором до войны жили заключенные — их куда-то перевели, а в барак рабочих поселили. В центре барака столбы стоят, и к ним в два этажа доски прибиты — нары. Одну нижнюю доску мне с детьми дали. В первую же ночь, только легли спать, Вадик концерт завел: «Папа!.. Где папа?.. Папа, иди!..» Он Марка уже полгода не видел — как в детский сад в июне 41-го уехал, так больше папу и не видел. Мне стали шикать: «Тут двести человек — женщина, уймите ребенка». А ему уже пятый год, он тяжелый, у меня язва — врач меня предупреждал: тяжести не поднимайте. А что делать — взяла на руки и пошла с ним в тамбур. В тамбуре холодно. Толя уже знал, что маме нельзя Вадика на руки брать, и он начал его отвлекать, игры придумывал — только чтобы на руки не просился. А Вадик опять плачет: «Папа, папа, иди!..» Я в тамбуре, качаю его, смотрю — а у него голова какими-то язвочками покрылась. Думаю: от холода — не знала я, что это офицер, который его на руки брал, чесоткой заразил. Я опять в барак. Так полночи промаялись, пока дети, наконец, заснули. Места на доске не осталось, да я их трогать боялась. Села на краешек и задремала.

Утром опять иду в местком, говорю: «Дайте мне направление в детский сад — ребенок в бараке капризничает, мешает, люди не высыпаются, а им работать нужно». Мне отвечают: «Мы спишемся

с детским садом. Если у них есть место, мы дадим вам направление». Десять дней продолжалось ожидание. Я — без сна, дай Бог, чтобы дети не капризничали, а уж сидя спать — дело привычное. Один раз баню устроили — холодно, страшно детей простудить, но и грязными оставлять нельзя. В местком хожу каждый день — узнать, не пришел ли ответ из детского сада. Наконец, славу Богу, детский сад ответил: места есть. Меня послали во врачебную комиссию. Толя — в порядке, у Вадика чесотку врачи не заметили, язвочки на голове приняли за авитаминоз, сказали питается плохо. Но в сад ехать разрешили. Выхожу из медпункта — и встречаю свою Асю Кац, с которой работала в Москве. Она говорит: «Гедочка, там от станции 40 километров, машины не ходят, вы же там не выживете, детей загубите». Я: «У меня выхода нет, мне работать надо, питаться, в бараке жить с детьми невозможно. Лучше уж один раз перемучаемся».

Секретарь партийной организации выписала талоны на хлеб и еще справку напечатала: «Зиманенко Геда Семеновна отвозит в детский сад детей командира действующей армии». Сказала: «Так надежнее будет — говорите, что дети не ваши, а командира армии».

Взяла я детей, два детских чемодана, хлеб, все бумаги — направление, справку медкомиссии, письмо от парторганизации — и поехала на станцию. Добралась до Куйбышева к вечеру. Чернота такая, какую я в жизни не видела. Иду к кассам — громадная очередь. Час стою, два, вроде приближаюсь, тяну руку с документами в окошко, но меня оттесняют: я — маленькая, а там здоровые мужики. Уже потеряла надежду билеты получить. Думаю, может, завтра еще раз попробую. И вдруг мужчина в тулупе подходит и говорит: «Женщина, вы куда едете?» — «В Абдулино». — «Я вижу, как вас оттирают от кассы. Давайте, я вам помогу: дайте мне ваши документы — а я на ваши документы еще и своей дочке билет возьму, а то мне не полагается». Я боюсь: не обманул бы — в военные годы без документов не выжить. А что делать — я до кассы все равно не дотянусь. Решилась: дала ему справки и деньги. Он всех растолкал, руку в кассу протянул и взял билеты. «Вы, — говорит, — без меня состав не найдете, выходите на улицу в двенадцать ночи».

Вышла в двенадцать. Фонари не горят, чернота — глаз выколи. Куда идти?.. Вижу, мужчина в тулупе стоит и девочку за руку держит. «Держитесь за меня», — говорит. Идем куда-то, один поезд обходим, другой под вагонами пролезаем. «Куда он нас ведет? Где поезд? Ограбить хочет? А если поезд тронется, когда мы под вагоном лезем?» Наконец, находим поезд где-то на

запасных путях. Стучим в вагон — а он темный, и никто нам не открывает. Насилу достучались.

Поехали: я, Толя, Вадим и девочка. В два ночи выгрузились на станции. Девочка попрощалась с нами и куда-то убежала. Станция темная, мороз. У меня в одной руке чемодан, Вадик и Толя держат другую руку. Вижу, домик рядом со станцией. Подошла — оказалась почта. Я начала стучать, разбудила старичка — сторожа. Стала его просить: «Пустите на одну ночь — дети мерзнут». Он сказал: «Уходите, женщина, вам здесь делать нечего». Пошли по деревне. В каждой руке по чемодану, Вадим на мне виснет, плачет, холодно ему. Стучусь в дом — никто не открывает. Опять стучусь — гонят, не хотят пускать. Тут Толя говорит: «Смотри, навоз у калитки — постучи сюда, тут корова есть». Постучала — нам открыла пожилая женщина. Говорю ей: «Дети замерзают». — «Заходите». Зашла — и вижу, что в доме пять девочек — и одна та самая, которая с нами в поезде ехала. Девочка говорит: «Мама, это женщина, которая помогла нам билеты купить». Такое удивительное совпадение. Я отдала им все буханки хлеба, и они оставили нас у себя. Хлеб в деревне большая ценность: картошка своя, молоко свое, а хлеба негде купить.

Наутро спрашиваю женщину, где детский сад. «А это в бывшей колонии. Сорок километров отсюда — по зиме не дойти. Идите в военную часть, может, машина туда пойдет». Я пошла к военным. Говорят: «Сегодня машины не будет, завтра тоже не будет. Ждите — пошлем солдатика за вами». Ждем, живем у женщины, я стараюсь помогать, Толя и Вадик с девочками играют. На третий день вижу — солдатик бежит, кричит: «Женщина, что же вы — машина уезжает!» Взяла чемоданы и побежала. Толя и Вадя в кабину сели вместе с водителем, а я в открытый кузов. Полчаса проехали, машина останавливается. «Что такое?» — «Вашего мальчика тошнит». Взяла его в кузов. Мороз, ветер дует. Еще час проехали, водитель говорит: «Вон, видите домик в километре? Это детский сад, дойдете — а я уже спешу».

Мы и пошли. Вадик плачет: «У меня ножки замерзают». Я сняла с себя варежки и ему как вторые носки надела — я сама в кузове так замерзла, что холода уже не чувствую. Я чемоданы тащу — а Вадик на руки просится. Толя игру затеял — так до домика и дошли.

Мы в детском саду. Я отдала направление. Греемся, нам положили сладкой рисовой каши. Надеюсь, что кончились наши мучения, хотя бы дети в тепле и накормленные.

Вызвали детей к доктору на осмотр. Толика быстро выпустили, а Вадика не выводят и не выводят. Тут дверь

открывается, и доктор начинает на меня кричать: «Как вам не стыдно — детей с чесоткой привезли! Я вас не возьму, езжайте обратно!» — «Куда обратно? Мы в бараке на одной доске спим! Пожалейте детей! Я не знала, что у него чесотка. Мы такую дорогу проделали — назад не довезу!» — «Уезжайте, женщина!»

Я плакать не умею. Просила-просила — врач смилостивилась и оставила детей на карантине.

Говорят: «Переночуйте, а завтра пойдете». Утром накормили меня завтраком, я попрощалась с детьми и пошла сорок километров пешком назад. Налегке шла, чемоданы детям оставила. Снег на дороге примятый. Утром в темноте вышла, к середине ночи в деревню пришла — по молодости и 40 километров пройти могла. Пришла в ту же избу. Хозяйка узнала, когда поезд, хотела хлеба с собой дать. Я говорю: «Не надо, у меня на заводе столовая». Села на поезд в плацкартный вагон и залезла на верхнюю полку. Такая на меня усталость накатила… Не знаю уж, сколько времени прошло, — слышу внизу разговор: «Надо бы женщину проверить — сутки уже без движения лежит, жива ли…» Я повернулась и говорю: «Жива, жива». Так без хлеба и воды двое суток я провела в поезде, пока до Куйбышева доехала.

На следующий день после приезда вышла на работу.

Геда — Марку
20 декабря 1941 г.

Дорогой мой Марочка!

Сегодня первый день после долгого перерыва взяла в руки карандаш и линейку. Наконец-то приступила к работе. Дорогой мой, много помытарились мы за это время. Я уже писала тебе из колхоза, что мы, не дожидаясь вызова, сами поехали на завод. В Куйбышеве просидели целую ночь в тоннеле, ожидая поезда на Безымянку. Дети очень замерзли, а мне с чемоданами и швейной машинкой совсем не повернуться. Спасибо, два проезжающих летчика взяли Вадика погреться в командирскую комнату. После этой поездки Толечка пару дней потемпературил. В бараке перевалочного пункта прожили 8 дней — и я получила путевку в детский сад. Чкаловский район — это 250 километров от Куйбышева. Дорога была очень тяжелая. Главное, что стоят 30-градусные морозы, а ты знаешь, как наши «герои» переносят холод. От станции до детского сада 40 километров ехали в открытой машине. Детей военный

шофер взял в кабину. Обратно на станцию шла пешком. На дорогу у нас ушло 8 дней. Теперь уж одна и вот сегодня начала работать. Я очень устала за это время, и нужно было бы отдохнуть, но мне уже надоело скитаться без жилья, без денег и, главное, без карточки на хлеб и продукты. Сейчас на душе у меня легче — дети устроены хорошо. Сад находится в лесу в очень красивой местности. Кормят детей хорошо, и персонал сада хороший. Сейчас дети в изоляторе — врач боится пустить их в группу после такой долгой и трудной дороги. Дней через 5–6 их пустят в группу. Дорогой мой Марочка, я пока не имею своей койки. Вчера провела ночь в бараке на полу. Обещают на днях койку в общежитии женщин в Безымянке или по уплотнению в семью в Куйбышеве. Последнее, на первый взгляд, лучше, но очень плохо с транспортом, а я так устала, что тратить несколько часов на дорогу не в силах. Попрошусь в общежитие. Дорогой мой Марочка, дети очень соскучились по тебе. Вадик при прощании просил: напиши папе, чтобы приезжал скорее. Толечка растет очень спокойным рассудительным мальчиком. Он уже многое понимает, и мне в тяжелые минуты становится от этого легче. Все эти дни, дорогой мой, живу одной мыслью о тебе. Сколько дум, сколько волненья. Самое ужасное, что не знаю, где ты. Родной мой, Марочка, вот уже скоро 2 месяца, как не имею от тебя весточки. Правда, ты не виноват в этом… Я так изголодалась, так хочу получить весточку от тебя. Мой любимый, мой дорогой. Геда.

(«Приписка позднего времени: „многое умолчено“».)

Марк — Геде
1 января 1942 г.

Гедочка, дорогая, родная моя!

Какой камень свалился с плеч. Наконец, сегодня я узнал, что с вами. Сегодня я получил сразу шесть писем. Представь себе, я чувствовал, что ты именно так мучаешься. Откровенно говоря, я еще удивляюсь, как ты сумела в этих условиях устроить детей в сад и даже отвезти их. Бедная Гедочка, воображаю, как тебе досталось. В письме от 30-го ты пишешь, что детей отправила, но не написала, чем болеет Вадик. Это меня очень волнует. В первом письме ты писала, что плохо

себя чувствуешь. Гедочка, напиши мне честно обо всем. Как бы то ни было, но у меня большой праздник. Во-первых, утром сводку радостную принесло радио: наши взяли Калугу, — а днем сразу стало ясно о вас. Признаться, настроение было у меня неважное. Теперь сразу изменилось…

Дорогая моя, будь умницей, береги себя. Все будет хорошо, если будешь здорова и детей сбережешь. Целую тебя. Марк. Спасибо за отпечатки рук детишек.

Геда — Марку
12 января 1942 г.
Безымянка

Дорогой мой, славный мой Марочка! Наконец-то! Наконец получила твое письмо. Первое письмо почти за 3 месяца со дня отъезда из Москвы. Это письмо снова вернуло меня к жизни, влило радость и бодрость и, главное, надежду на лучшее будущее мое и деток. Дорогой мой, как тяжело было не знать, где ты, здоров ли. Вадим в последнее время в вагоне и общежитии был очень капризен и часто заводил «папа иди» — по полчаса тянул только эти два слова. В это время мне казалось, что с тобой что-то неладно. На душе становилось так тяжело и мрачно, что нет сил передать. Дорогой мой, это позади. Я знаю, что ты здоров, знаю, где ты, и надеюсь, что мы не потеряем друг друга. Дети, как писала тебе много раз, в детсаду в Чкаловской области. Ребята за два месяца наших мытарств сильно сдали в смысле здоровья, но теперь им хорошо и они скоро поправятся…

Годы эвакуации без детей

Мы строили завод. Сразу и проектировали, и строили — все с колес. Котлован роют — а мы фундамент проектируем. Фундамент зальют, настил положат — и сразу оборудование ставят, рабочие у станков на морозе трудятся, костры жгут, сами греются и станки греют. Завод под открытым небом работает — а мы корпуса проектируем и вокруг станков начинаем здание возводить.

Работать я начала не в строительном отделе, как в Москве, а в техническом — в строительном не оказалось вакансий. Мой начальник, Елиазар Израилевич, остался в строительном. Сначала

я проектировала литейный цех — чувствовала себя довольно уверенно, а потом начали административное здание делать — это я хуже понимала, и приходилось все время бегать к Елиазару Израилевичу консультироваться. Он покажет мои ошибки и говорит: «Да вы так не расстраивайтесь — представьте, что вы музыку из-за двери слушаете: половина звуков пропадает. Вот и архитектуру вы пока из-за двери слышите». Я чертеж переработаю и опять к Елиазару Израилевичу, он меня с прибаутками поправит — и я снова доделываю.

Геда — Марку
21 января 1942 г.
Безымянка

Дорогой мой, славный мой Марочка! Получила твои два письма из Сургута… Дорогой мой, сердце стынет при мысли, что опять может оборваться связь. В твоем письме чувствуется, что, возможно, опять переедешь куда-либо, и если мои письма не застанут тебя в Сургуте, что будет дальше? Так тоскливо становится при этой мысли… Живу ничего, втянулась. Работаем много, но не совсем продуктивно, много неполадок, а главное — холодно. Холода здесь ужасные, несколько дней как морозы перевалили за 40. Одета я — ты сам знаешь как. Кстати, большая часть белья осталась в прачечной в Москве. Деньги у меня есть, получила подъемные на работе, но истратить их на покупку теплых вещей не могу просто потому, что негде купить. Дети одеты, ты тоже знаешь как. Вадику я сделала ватные штаны из своей кофточки, у него рейтузики совсем протерлись. В общем, эту зиму они проходят. Надеюсь, что в большие морозы их не выпускают гулять. Хожу в валенках, мне подшил их хозяин, у которого я живу, на моей машинке. Из деревни выехала с детьми, швейной машинкой и с самым-самым необходимым, то, что отправила багажом, то пропало. Дорогой мой, прости, что забиваю тебе голову такими мелочами. Пиши, родной мой, как проходят твои дни. Имеешь ли письма от кого-либо из наших? Дорогой мой, крепко целую тебя.

Твоя Геда.

Геда — Марку
23 января 1942 г.
(через два дня ПОСЛЕ предыдущего)

Дорогой мой, любимый мой Марочка. Позади дорога, мытарства. Сейчас я работаю, живу в тепле, это сейчас основное. От детишек из сада пришло сразу 2 письма — одно от педагога, другое от врача. Вообще, дорогой мой, за эти пару месяцев мне, наряду с очень тяжелыми темными явлениями жизни, пришлось испытать на себе и увидеть воочию, что среди простых людей гораздо больше доброты, внимания и отзывчивости. Так вот, на станции Абдулино, куда я приехала с детьми в мороз и стужу, приютили нас совсем чужие незнакомые люди…

Относительно питания: желудок понемногу приноровился к черному хлебу. Правда, первые полтора месяца мне было очень плохо, мучили тошнота и боли, но сейчас я сама удивляюсь на себя: ем баланду и черный хлеб. Бывают и в этом перебои, и это гораздо хуже для моего желудка. Марочка, обещают все наладить и даже открыть диетстоловую, тогда поправлюсь…

Дорогой мой, пиши о себе подробнее и чаще. Крепко-крепко целую тебя.

Твоя Геда.

Марк — Геде
3 февраля 1942 г.

Дорогая моя Гедочка. Вчера получил твое письмо от 15.1, а сегодня от 21.1. Все мои предположения оправдались. Я даже иначе и не мыслил, я знал, что вы переживаете очень много. Весь октябрь и ноябрь я ходил с убийственным настроением. Каждый раз, садясь кушать, не переставал думать, не голодны ли вы. Я был бы гораздо спокойнее, если бы знал, что вы эвакуировались с заводом…

Геда, дорогая, — какие же мы были глупые до войны, мы не понимали, что живем счастливо! Только бы остаться живыми и опять встретиться! Ты не можешь себе вообразить, как много я думаю об этом!

Живу по-старому, точно не знаю, сколько здесь пробудем. Завтра уходим на тактическое учение. Предстоит марш 90 километров. Мы уже ходили на 55 и 70 километров — как говорят, «закалялись». Думал, что не дойду, но прошел прекрасно и даже многим помогал. Теперь смело могу сказать, что 100 километров пройду

за двое суток со всем обмундированием. Гедочка, не унывай, будь мужественна. Наше дело победит. Марк думает все время о вас, любит вас. Целую тебя.

Марк.

Геда — Марку
9 февраля 1942 г.

Дорогой мой Марочка!

Получила сразу два твоих письма. Спасибо, родной мой, твои письма для меня сейчас все. Что писать о своей жизни — так она однообразна, так одинока, прямо слов нет. День на работе, а вечер в чужой семье. И грызет меня вечно думка, где мои детки, где мой Марочка, будем ли мы опять вместе. От детей из детсада письма имею редко, очень щемит за них сердце. Знаю, что им неплохо, а все думается. Дорогой мой, в прошлом письме ты говоришь: «мы не понимали, что живем счастливо». Что сказать тебе на это? Думаю, что счастье — это дело относительное и весьма различное для разных людей. В отношении себя — вернее, нас — меня, тебя, детей — я считаю, что мы были счастливы, потому что жили дружно.

Дорогой мой, постараюсь рассказать тебе, что это за Безымянка, в которой живем и трудимся на благо родины. Одно название «Безымянка» говорит, что это была за станция в прошлом. Сейчас здесь кипит жизнь, если кроме труда здешнее скученное, грязное и голодноватое существование можно назвать жизнью.

От Куйбышева это приблизительно 12 км, но сотрудники, живущие там, попадают домой большей частью в 11–12 ночи. Поезд ходит плохо. Бывает, что, просидев пару часов в неподвижном вагоне и не решившись идти пешком в город, люди возвращаются ночевать на завод — все же не замерзнешь. Я живу в самой Безымянке, возле станции, и до работы мне всего 2 км. Я здесь в этом отношении счастливый человек. Работаем мы без выходных. Конец декабря и начало января были здесь очень морозные, доходило до 43–47 с ужасными туманами. Идешь и не видишь рядом идущего человека, солнца совершенно не видно в такие дни. Москвичи наши поотмораживали щеки, уши, носы, но теперь научились, кутаются до глаз. Я лицо кутаю в платок, а вот ноги выше колен не во что, немного

приморозила, недели полторы болело. Сейчас морозы не выше 30, и мы уже привыкли. Приближение весны меня пугает по многим причинам — нет галош, а купить невозможно. Говорят, что в грязи здесь тонут лошади. Очень боюсь, что дети будут без пальто. Деньги на это у меня отложены — 1000 рублей из подъемных, но не знаю, сумею ли достать что-либо. Пока мечтаю об этом. Надежды не теряю на лучшее будущее…

Папа приехал в Киров к своим — Доре Яковлевне, Любушке и Шуре. Стала я получать письма и от них. Первое письмо от Шурочки было сердитое. Но я так радовалась каждой весточке — самое главное было увидеть почерк моей милой младшей сестренки — «мизинчика».

Шура — Геде
10 января 1942 г.

Гедочка, если бы у меня не было двух племяшек, которых я очень люблю, поверь, я бы тебе больше в жизни не написала ни одного письма. За 5 месяцев я от тебя, кроме как две приписки в письмах папе месяца 3 тому назад, ничего не получила. Оправданий твоему поступку нет. Как бы тебе тяжело ни было, все же ты могла бы мне написать, а то, что тебе тяжело, это еще большая причина для того, чтобы переписываться с сестрой. Ну да ладно, дело твое. С горы виднее. Так как здесь твой отец, и он очень интересуется, как ты устроила ребят в детском саду, как устроилась сама и есть ли что от Марка, то я думаю, что ты все же напишешь хотя бы ему. Я лично в жизни придерживаюсь такого принципа, если я на что-нибудь сержусь или чем-нибудь недовольна, то прямо в глаза говорю об этом. Если я как-нибудь не так поступила или была невнимательна к тебе, могла мне об этом сказать, что было бы честнее. Но я за собой таких грехов не чувствую. Я тебе писала десятки раз. Три раза телеграфировала, сообщала наш адрес и звала тебя с ребятами к себе — на это ты ничего не ответила. Значит, ты считаешь меня не сестрой тебе и не другом. Это дело твое. Я не напрашиваюсь. О своей жизни писать не буду — она тебя, как видно, не интересует. Дома же все здоровы, отец вышел на работу. Жизнь очень дорогая, но пока мы сыты и надеемся, что скоро все кончится и мы снова поедем в Москву, о которой все мечтаем. Ну, пока, будь

здорова, если что знаешь о Марке, пожалуйста, сообщи.

Целую, Шура.

Я восхищалась самоотверженностью Шуры. Я после работы приходила и валилась с ног, а Шура каждый день, закончив работу, шла в госпиталь. Я унылая, бледная, никогда не улыбаюсь — а Шура веселая, шутит, всех поддерживает. Вот письмо, которое Шура написала Марку.

Шура — Марку
30 января 1942 г.
Киров

Марк, дорогой мой, здравствуй. Вчера получила твое письмо, а сегодня, наконец, телеграмму от Геды, что вы списались. «С Марком списались, здоровы, целую всех, особенно Шуру». Последнее — «особенно Шуру» — не потому ли, что в каждом письме задаю ей бенефис: «Береги себя, чаще пиши, мать двоих детей и т. д.»? Марк, ты пишешь, чтоб я тебе писала чаще, — да я, пожалуй, пишу тебе больше, чем всем моим поклонникам. Это доказательство большой любви и уважения к тебе и признания тебя самым родным в нашем семействе. Марк, милый, как хочется, чтоб скорей кончилась эта проклятая бойня, собраться опять в Москве… Не сердись, что я немного «скулю», — ведь это только с тобой. Я с тобой позволяю себе говорить больше, чем со всеми остальными. Марочка, дома и на работе приходится всегда быть сдержанной, веселой, поддерживать у окружающих дух бодрости, а главное — это нужно в госпитале, туда всегда прихожу как «солнышко», всем улыбаюсь…

Немного о нашей жизни. Папа — сейчас в командировке — и Дора Яковлевна работают. Любушка учится и немного ленится, ей просто некуда употребить свободное время, ни тебе музыки, ни художественной школы, так что, сам понимаешь, можно разлениться. У меня ни минуты свободного времени, до 8 я на работе, а потом в госпитале. Придешь домой в час-два ночи, все спят, утром перемолвишься парой слов и бежишь. Сюда еще примешиваются заботы о том, как бы чего достать, купить, раздобыть, как бы не оставить семейство голодным. Ну да ладно, это проходящее. Кончится война, кончатся и эти заботы. Меня основное утомляет — это

постоянное присутствие людей, даже самых близких и дорогих. За полгода бывает иногда желание побыть хоть час одной, а тут куда ни придешь — гудит, и это очень утомляет. Марочка, скоро кончится война, и я опять буду отдыхать, как мне захочется. Только бы скорее вернуться в Москву… Дома стало спокойнее, все списались, кроме Доли. Это Гитлер, подлец, сколько людей страдает из-за его жажды власти и кровожадности…

Марк, наверное, я написала дрянное письмо, прости.

Мы все списались, кроме Семы. В феврале 42-го Сема нашел адрес Марка и написал ему:

Сема — Марку
28 февраля 1942 г.
Действующая Красная Армия

Здравствуй, дорогой мой брат Марк!

Сегодня получил я письмо с твоим адресом.

И я этим очень доволен. Марк, ты себе не представляешь, как тяжело было эти все месяцы, когда я не знал, живы ли вы. А сегодня узнал, что ты хоть живой и тебе можно писать. И полпуда с сердца долой. Ну, Марк, немного начну о себе. Как уже читаешь, я живой и здоровый. Это самый наилучший факт для сегодня. Ну, живу неплохо сейчас. Что было до этого, ты сам ведь знаешь, — так, как на всех фронтах войны. Все, чего было, — пускай этого не будет никогда. Сейчас в основном дела мои хороши. Осуществляем слова тов. Сталина на деле, что Крым должен быть очищен от немецких фашистов и их румыно-итальянских прихвостней. Вот и все, что могу написать о себе главное. Марк, как жалко и больно, что не знаем, где наши родители. Неужели навсегда у нас утеряны отец и мать и все наши кровные родные?! Если, быть может, сумеешь что узнать, напиши. Вот и все, что хотел тебе написать. Будь здоров. Не забывай про меня.

Твой брат Сема Розин.

Слова товарища Сталина про освобождение Крыма, которые цитирует Сема, были сказаны 30 декабря 1941 года, а в конце июня 1942 года Севастополь пал. Мы знали об этом из сообщений, но не имели никаких известий о судьбе Семы. В июле 42-го Марк написал мне: *«Я волнуюсь о Семе. Надо сказать, что до*

сих пор ему везло: где он только ни был — он оставался невредимым, а вот выбрался ли он из Севастополя или погиб там, покрыто мраком неизвестности». Осенью до меня дошло последнее письмо Семы. Оно не сохранилось. Я помню конец этого письма: *«С именем Сталина защищаем последние камни Севастополя».* Семы уже не было в живых.

Из детского сада я получала письма от воспитательниц — там работали добрые, замечательные люди. Толя выздоровел, а Вадим все болел. Когда Вадим выздоровел, заболел Толя. Так они друг друга заражали — провели в карантине 3 месяца.

Воспитательница детского сада —
Геде
14 января 1942 г.

Здравствуйте, Геда Семеновна!

Сообщаю вам, что дети ваши здоровы, чувствуют себя хорошо. Значительно поправились. Но с прискорбием сообщаю, что они еще находятся в изоляторе, так как у меня несколько дней был перерыв с медикаментами. Вот я ездила сама в Абдулино и привезла все то, что нужно для быстрейшего лечения. Прошу вас о них очень не беспокоиться — им у меня в изоляторе неплохо. У меня сейчас вообще никакой инфекции нет, кроме ваших детишек. Живу я вместе с вашими детишками в изоляторе. Толя очень смышленый мальчик, занимается с Вадиком, перед сном Вадик просит Толю рассказать ему сказку. Читала детям ваши письма — они очень довольны, что знают все подробности о своей мамочке. Первое письмо, когда я читала Толе и Ваде, Толя даже немного прослезился. Словом, вас прошу не очень беспокоиться, им здесь неплохо, кушают хорошо, тепло. Еще раз говорю вам, что они выглядят очень хорошо — поправились, никакого сравнения нет, как они приехали к нам. Пишите.

С приветом. Врач Е. Кононова.

К лету 42-го года здания цехов были в основном построены, и мне поручили проектировать столовые. Я спроектировала 14 столовых, пристроенных к цехам. Директор столовых каждый раз приглашал меня: «Геда Семеновна, приходите на открытие — мы вас накормим». А я не ходила — не хотела выделяться: другие архитекторы проектируют цеха — и их не кормят, значит, и мне не нужно.

На работе нас кормили обедом. Первое время варили манку. И, помню, она казалась мне необыкновенно вкусной. Масла не было, но все равно было так вкусно, как сейчас уже не бывает. Потом манка кончилась, и начали варить перловку; мы называли эту кашу «шрапнель». К весне перловка стала кончаться, принялись варить из перловки суп. Ну, а когда не стало перловки, варили суп из лебеды. Еще на обед давали маленький кусочек мяса или рыбы — полмизинца на человека.

Один раз я дежурила на кухне и вижу: трое дежурных и повар взяли кусок мяса, как две мои ладони, и треть отрезали. Я спрашиваю: а эта треть для кого? Они говорят: «Это для нас, дежурных, — и вы поедите». Я изумилась: «Как же такой кусок, почти в ладонь, нам на четверых, а оставшийся кусок на 80 человек? Несправедливо!» Они со мной спорить не стали, все мясо разделили между всеми. Но после дежурства мне сказали: «Мы тебя, Геда, больше на кухню не возьмем». Да я и сама не хотела.

Жила я около станции — меня поселили в частном доме «по уплотнению». Когда я пришла, хозяева встретили меня мрачно. Большая комната с печкой и еще одна — поменьше. В маленькой комнате стояла кровать хозяев, а в большой спала их дочь. Хозяин завел меня в свою спальню и говорит: «Убираться нам, что ли, отсюда?» Я изумилась: «Что вы, что вы, спите где спали, вот в большой комнате поставьте мне топчан, я тут буду спать». Они так и сделали: поставили топчан рядом с кроватью девочки — я там и жила. Ключ они мне не дали, сказали: «Кто-нибудь всегда дома, стучи». Бывало, ночью в темноте дойдешь по морозу, думаешь: сейчас к печке, согреюсь. Стучишь — а никто не открывает. Один раз поздно ночью полчаса стучала, прежде чем открыли, — думала, замерзну на пороге. «Не слышали», — говорят.

Хозяин работал на складе. А еще подрабатывал — чинил обувь. Один раз мне валенки подшил на моей машинке. Как-то я пришла домой, взяла машинку — хотела детям пальто шить, смотрю — а она не работает: шестеренка сломана. Я у хозяина спрашиваю, не трогал ли он машинку без меня. «Взял один раз, сапоги зашить». — «Как же так, это же не обувная машинка! Вот — шестеренка сломалась». — «Все было цело», — сказал хозяин. На следующий день я пошла на завод, показала разломанную шестеренку. «Поможем», — сказал инженер, и шестеренку заварили. Дома попробовала ее вставить, а она не лезет: шов слишком толстый. Я начала шов напильником точить. Приду домой в ночи и точу. Через месяц шестеренка вошла — и машинка заработала.

Дома утром и вечером ели то, что давали по карточкам. Были хлебные карточки и мясные. На хлебную я получала 800 граммов хлеба в день. Съедала я от силы 400 граммов, а на остальное выменивала другую еду, дрова, мыло. А на мясные карточки мяса не давали — не было: все на фронт шло; давали заменители — то подсолнечное масло дадут, то маргарин. Макали хлеб в масло — так и завтракали, и ужинали. Весной крапиву собирали.

Работали мы официально по 12 часов: в 8 утра начинали и в 8 вечера заканчивали. Работа была ответственная, а я не очень способная, и у меня все медленно получалось, так что я оставалась допоздна. Приходилось и до утра работать, чтобы чертежи сдать. Если вечером работала, можно было сходить в столовую поужинать. Помню, как-то поздно вечером иду в другой корпус, где столовая, а в коридоре на пути громадная крыса сидит. Я стою, смотрю на нее — и она на меня смотрит, дорогу не уступает. Я постояла-постояла — и развернулась, чтобы обратно идти; думаю: придется голодной работать. Но тут рабочий подошел: «Что, — говорит — испугалась? Пойдем вместе», — поднял камень и кинул в крысу.

Если в ночную остаешься, хлеб с солью из дома берешь. Приходилось привязывать кулек на веревке к кульману, а то мыши съедят. Днем, когда людей много, мыши боятся вылезать. А ночью одна мышка пробежит, вторая… Я черчу, тихо держусь — и вот уже полна комната мышей: бегают друг за другом, точно в салки играют, кувыркаются, хороводы водят… Кульман высокий — я на табуретку встану, чтобы они на ноги не залезали, черчу и за их танцами наблюдаю.

На заводе не было туалетов. Если надо в туалет, несколько человек собираются и идут в поле за завод. А там заключенные-мужчины работают. Приходилось все делать на виду. Я человек стеснительный — по моему характеру это было мучение. Когда столовые были построены, меня вызвали и говорят: «Геда Семеновна, нужно срочно запроектировать туалет для директора завода». А я отвечаю: «Когда сделают уборную для нас, тогда и ему спроектирую». Мне говорят: «Геда Семеновна, военное время! Вы что — под трибунал хотите?» Тут у меня характер взыграл — и я ответила: «Мне все равно: когда нам — тогда и ему!» — развернулась и ушла. Весь день молчала — ждала вызов в особый отдел. На следующий день опять начальник вызывает и говорит: «Геда Семеновна, одевайтесь, пойдемте на улицу». Я перепугалась, но виду не подала. Оделись, пошли в поле за завод. Смотрю — заключенные ямы роют и столбы вкапывают для туалета. «Теперь будете проектировать?» — «Теперь буду».

Марк — Геде
3 сентября 1942 г.

Гедочка, никак не дождусь от тебя письма. После последнего письма я не перестаю думать о тебе. Мне бы хотелось, чтобы настроение у тебя было бодрое и радостное. Если бы это зависело от меня, я бы сделал все возможное. Но, к сожалению, я тебе помочь мало могу. И в эти дни можно радоваться. Мое сердце наполнено радостью замечательным успехам Красной Армии. Когда будет уничтожен последний фашистский бандит, вот когда будет настоящий праздник человечества. Вот почему, родная, как бы ни было одиноко, сейчас грустить не надо. Трудно мне в письме передать тебе мои чувства, но очень многое хочется сказать. Когда встретимся, обо всем скажем друг другу. Пусть это будет раньше или позже, но мы встретимся…

Геда — Марку
16 сентября 1942 г.

Дорогой мой Марочка!

Вот уже несколько дней как собираюсь написать тебе, но за последнее время у меня участились головные боли. Письмо твое от 3-го сентября получила. Дорогой мой, прости меня, если я была несправедлива к тебе. Главное, ведь я знала, что ты переживаешь за нас. Еще раз прошу тебя: не сердись, очень уж я легка на обиду, а потом самой становится тяжело. Марочка, относительно денег я настоятельно прошу тебя: не урезай свой бюджет. Я, как и в Москве, получаю 500, на руки 300, 180 плачу за ребят. Если ты будешь посылать рублей 200, то мне хватит. Смотри же, дорогой мой, слушайся меня, иначе я все время буду думать, что из-за нас ты во всем себе отказываешь. Ты пишешь: «продай что-нибудь». Дорогой мой, ведь и в Москве у нас было так мало вещей, что, право, нечего было продать. Нужно вообразить, как мы стремительно собрались ехать, чтобы понять, что много вещей я не могла взять… Очень часто тоскую о наших книгах. Ругаю себя, что не взяла лучшие, побоялась папу. Теперь, когда прошла острота момента, тяжело вспоминать о том, сколько оставлено дорогого для сердца. Папа так совсем ничего своего не взял…

Дорогой мой Марочка, очень меня радуют твои

успехи, напиши, как справился с очередным 100-километровым походом. Я знаю, что ты у меня замечательный человек, труженик. Побольше бы таких преданных, честных, самоотверженных людей — и не знали бы тогда столько горя…

С весны 42-го года нам сделали постоянный выходной раз в неделю, чтобы мы ездили в поле, помогали колхозу. Идти до поля было 6 километров. Выходили утром часов в пять — летом в это время уже светло, солнце встает, птицы поют — и шли туда с песнями и шутками. Потом весь день поле пололи. А вот назад уже идти тяжело было, все молчали. Весь день согнутый по полю ходишь, а потом и распрямиться не можешь. Так и идешь назад не разогнувшись. А у меня тогда способности рассказчицы были, я умела сказки рассказывать — сейчас уже разучилась. Вот все идут, молчат, разогнуться не могут, поясница болит — я и говорю: «Давайте я вам сказку расскажу». Я тогда много сказок помнила, которые мне еще папа читал. Они говорят: «Расскажи». И я рассказала сказку «Дорожный товарищ». Есть такая сказка, про Йоханнеса — как он отца схоронил и пошел странствовать по свету. Закончила я рассказ, смотрю — уже все распрямились и дальше прямые пошли.

Осенью 42-го года у меня началось обострение язвы. Прихожу в столовую, а есть не могу. Как раз недавно диетстоловую открыли, и при ней диетврач работал. Ну, я к нему и пошла. «Что с вами?» — говорит. Я отвечаю: «Желудок болит, есть не могу». — «А диагноз свой знаете?» — «У меня язва». — «А как вас лечат?» — «Атропин дают». Врач взяла, достала банку, рюмочку и налила прозрачную жидкость. «Пейте», — говорит. Я смотрю, удивляюсь: обычно мне атропина несколько капель давали — ну, думаю, может, у нее разведенный, не могу же я врачу указывать. Взяла рюмку и залпом выпила. Тут со мной такое было, что я никогда в жизни не испытывала: дыхание перехватило, удушье, дышать не могу, слюну проглотить не могу. Хотела ей сказать и не смогла. Встала и пошла. Иду по заводу, шатаюсь, мужики на меня пальцем показывают: «Смотри, как нализалась, — где только достала!» Еле-еле дошла до медпункта, где мой знакомый врач работала. Вообще-то она патологоанатом, но работала терапевтом. Она посмотрела на меня и говорит: «Что с вами, Геда Семеновна? У вас зрачки расширенные». Уложила меня на кушетку. Говорит: «Геда Семеновна, у вас ужасное отравление». Пролежала я у нее целый день, она врач хороший, выправила меня. Такой вот медицинский персонал на заводе работал.

Геда — Марку

12 ноября 1942 г.

Любимый мой! Невеселые думы навевает осенний ветер. Хмурится небо, плачет. Последние дни октября были исключительно солнечными, а сейчас время берет свое. Мало тепла мы видели, а радости и того меньше. Все ждем ее… Ночевала вчера у Миши, Рая пришла поздно, а на работу мы с Мишей уехали рано — так с Раей и не поговорили. После работы спешила домой — думала, пришло письмо от тебя. Но — увы. Девочка Мишина, Люба, ходит в школу, живет нормально. У них дома я вспоминаю, что есть на свете семья, кровати, обеды. Миша и Рая очень хорошо ко мне относятся. Стараюсь бывать у них пореже — зачем бередить сердце.

К празднику получила стахановский паек на 68 рублей, 10 кило картошки, 100 грамм какао, спички, 400 грамм сахара, столько же рыбы, макароны, пачку табаку. Для начальства пайки были во много раз богаче. Три человека в отделе получили «начальскую» подачку с богатого стола — неприятный осадок остался перед товарищами. Приходится подавлять свои чувства. Но я рада, что смогу послать детям сахара и какао…

В 42-м году завод построили и приступили к строительству социального поселка.

Детей я не видела год — как в декабре 41-го года отвезла, так весь 42-й год и не виделись. Как туда доберешься? Только письма от воспитательниц получала. Тогда люди ответственные были, и воспитательница мне подробно писала, как дети растут, как себя ведут. Постепенно у меня завязалась переписка с одной из воспитательниц — Глафирой Ивановной, и мы иногда добавляли в письма слова про себя.

Воспитательница Глафира Ивановна — Геде
15 декабря 1942 г.

Здравствуйте, т. Розина.

Вчера получили Ваше письмо. Толя и Вадик здоровы, играют вместе с ребятами, вполне влились в детский коллектив. Когда я получила ваше письмо, я пошла к Вадику в группу и сказала, что мама прислала письмо и просит его поцеловать, и когда я его поцеловала в щечку, он весь покраснел, подошел к ребятам и — слышу — говорит: меня Глафира Ивановна поцеловала, и показывал щечку…

Теперь относительно нашего жития здесь.

У вас плохо, но лучше, чем наша глушь, ведь вы знаете хорошо, где мы живем, это можно прожить месяц, два, но если знать, что нам предстоит еще долгие месяцы пробыть здесь, то становится очень тоскливо, и напрасно вы думаете, что у меня есть кто-нибудь из родных в Куйбышеве, нет там у меня никого, а все остались в Москве и за Москвой. А тут еще получила известие, что умерла моя мать, которую я оставила здоровой, и тяжело очень, что я не смогла ее увидеть в последний раз, да и неизвестно, что еще мне готовится впереди, и здесь нет никакого успокоения — кусты и поле, кусты и поле, и бесконечные метели. Ну, до свидания, ребята вас крепко-крепко целуют, они, конечно, не чувствуют такой пустоты, и смех и крики наполняют наш дом с утра до вечера.

С приветом, воспитатель

Глафира Ивановна.

Зимой 43-го в 12 километрах от завода стали строить детский сад. Все женщины просили об этом, все ждали, когда детей привезут, — и вот, наконец, дети приехали.

Хорошее плохо помнится — лучше всего запоминаются стрессовые события. Первый раз я поехала к детям в конце января. Мы, женщины, ждем машину. Холодно, темно еще, все притопывают, греются, хорошей обуви и одежды ни у кого нет. А у меня желудок болит. Приехала машина, и мы полезли в кузов. Водитель посветил на нас фонариком и говорит, показывая на меня: «А эту женщину я не возьму, она у меня умрет в машине». А я всегда маленькая была, а тут исхудала совсем, и желудок болит — вот он, видимо, и заметил. Сняли меня с машины — и все уехали. А я села на снег, посидела, посидела — вроде полегче стало. Машина за весь день туда только одна и ездит. Я встала и пошла в детский сад пешком. Идти было 12 километров, дорога то лесом шла, то полем, в поле дул сильный ветер со снегом.

Пришла я в детский сад, хотела к детям бежать, а меня воспитатели поймали и говорят: «Не ходите к детям пока, не пугайте их». Привели меня на кухню, чаю дали, стали щеки растирать. А щеки все белые: пока шла — обморозилась.

Ну, посидела и пошла к детям. Вадим ко мне побежал: «Мама, мама!..» — а Толи не вижу. Спрашиваю, где Толя. А Толя болеет. Вадим говорит: «Туда нельзя ходить, но я тебя тихо проведу», — и мы пошли куда-то по лестнице. И вдруг слышу — Толя кричит:

«Мама, мама!..» — оказалось, что он мои шаги узнал, хотя почти год не видел. Пришла — а у него все лицо распухло: рожа — такая тогда болезнь была. Назад уже на машине возвращалась. Водитель сказал: «Ладно, раз не померла — садись».

Вся моя военная жизнь пронизана перепиской с Марком. Могли о бытовых вещах писать. Кто-то стихотворение или статью прочтет — шлет другому. Иногда спорили, могли обидеться в переписке, но тут же мирились. Вот кусочки писем весны и лета 43-го года.

Марк — Геде
23 апреля 1943 г.

Гедочка, дорогая моя!

Я несколько раз прочел твое последнее письмо, оно написано замечательно. Я отдельные выдержки читал моим товарищам. Ты умеешь хорошо излагать свои мысли и чувства. У меня это не всегда получается. Твои письма радуют меня. Ты пишешь, дорогая, что как же не завидовать моему спокойствию. Дело не только в спокойствии. Я также радуюсь при успехе, переживаю при неудачах У меня немало трудностей в работе. Но именно, как ты пишешь, «ясность духа» играет здесь большую роль.

Хорошо понимая время и зная, что без трудностей быть не может, я действительно на жизнь реагирую спокойно. Иногда, когда я сильно за что-либо переживаю, я самому себе говорю: «Марк, это неизбежно в работе, это спутник жизни». И хотя внутри я переживаю, я продолжаю делать свое дело. Да, в отличие от других, или, вернее, от многих, я внешне спокоен и выдержан. Но при неудачах переживаю, как все люди…

Марк — Геде
25 мая 1943 г.

Дорогая Гедочка! Замечательная теплая светлая лунная ночь. Нужно обладать большим художественным даром, чтобы эту ночь описать. Особенно хорошо в поле. Тихо-тихо. Воздух чист и приятен. Луна так светит, что все видно. Уже первый час ночи. Особенно прекрасно в такую ночь бесшумно ехать на велосипеде. Не думай, что я весь вечер гулял и только любовался природой. Дело в том, что я проверял, как проходят ночные очень важные занятия. Я ребятами остался доволен. Несмотря на то,

что я сегодня изрядно поработал, почему-то не хочется спать.

2 июля 1943 г.

Здравствуй, моя дорогая Гедочка!

<…>

Читая твое последнее письмо, я все думаю, как тебе недостает моего оптимизма. Ты пишешь про «полосу упадка, внутреннего разлада, тоски необычайной». Я глубоко верю в правоту нашего дела и окончательную победу над врагом. Я работаю, отдаю все свое сердце и все мои мысли на решение этой задачи. Ты ведь тоже активно работаешь на победу, почему же ты тоскуешь? Не нужно частные случаи обобщать в систему. У нас много неполадок, но люди у нас замечательные. Нам с тобой, Гедочка, нужно больше мужества…

Воссоединяюсь с детьми

С сентября 43-го года я взяла Толю из детского сада, и он пошел в школу — а то и так пересидел, 9 лет уже… Мы стали жить вместе в комнате и ездили навещать Вадика в детский сад.

Комната у нас была в соцгородке — ни отопления, ни печки, окна-двери есть, и ладно. Я стала сама печку по ночам выкладывать. Книжку на заводе взяла, как печи класть, — и сложила, трубу на улицу вывела. Хорошо получилось — тяга есть, не коптит. Тут комендант стал ко мне ходить: «Вы почему трубу самовольно проложили?! Не имеете права!» Я ему отвечаю: «Это моя забота, я все по правилам сделала». А он говорит: «У вас разрешения нет». Видит, что женщина с ребенком, — и стал нас третировать. Я терпела, боялась. Потом мне уже сказали, что он взятку хотел, — мне такое и в голову не приходило. Осенью пошла в завком, попросила талон на дрова. «Хорошо», — говорят. Дали талон на четверть кубометра: «Идите на склад, там рабочим дрова выдают». В воскресенье утром пошла на склад — а там толпа. Целый день проторчала — наконец кое-как протиснулась и бумажку протянула. И вдруг — раз! — у меня талон выхватили из рук, я даже не поняла кто. Так без дров и вернулась. В понедельник опять в местком иду — так и так, говорю, украли у меня талон, не смогла я дров получить. Мне отвечают: больше талонов нет. Что делать — вечером керосинкой погреешься, ночью ляжем с Толей вместе, накроемся всеми одеялами — вроде

не холодно. В ноябре выпал снег. Я опять в местком пошла, прошу: «Дайте талон на дрова, замерзну с ребенком». Они пожалели меня, дали. Я взяла санки и в этот раз вместе с Толей пошла. Теперь я стала бдительней, с талона глаз не спускала. Нагрузили дрова на санки и к дому подкатили. Я стала в комнату перетаскивать, а Толе говорю: «Не отходи от санок». Перетащили в комнату, затем рубить стали. Я раньше не рубила — папа и братья дрова рубили, моя забота была обед сготовить. Но ничего — освоила, и Толя помог. Не было бы дров — могли бы и замерзнуть зимой…

Такие тяжелые годы были, мучились все — но находились люди, которые других обворовывали… Помню, выстирала я одеяло, повесила сушиться на улице, говорю: «Толя, стой у окна, не отходи». Через полчаса прихожу — нет одеяла: стянули. Я ему: «Толя, как же так?» — а он отвечает: «Я от окна не отходил, на минуту отвлекся, поднимаю глаза — а одеяла уже нет…»

Школа у станции была, Толя туда сам ходил. Иногда учителя вызывали, жаловались. Толя вообще не очень хорошо учился, тихий мальчик. Животных любил. Как-то притащил кота — а он весь в язвах, дикий такой — никак его выгнать из дома не могла.

Осенью 43-го я забрала из садика и Вадима… Сама удивляюсь, как выжила с детьми в такие годы: у меня сил мало было, болела все время, тяжести нельзя подымать — так Толя все понимал, везде, где мог, помогал.

Марк — Толе и Вадиму

Толечка и Вадик!

Здравствуйте, мои дорогие. Вот вы опять вместе с мамой. Когда уничтожим всех фашистов, то и я к вам вернусь. Будьте хорошими детьми, слушайте маму и ваших руководителей. Толечка, ты уже должен был начать учиться. Тебе надо больше писать и читать самому. То, что ты любишь слушать сказки и сообщения из газет, это хорошо, но нужно хорошо читать самому. Если ты будешь хорошо заниматься, я тебя и Вадика буду любить еще больше. Играйте, веселитесь и будьте здоровы. За письмо тебе спасибо. Пиши еще. А Вадик пусть что-нибудь нарисует.

Целую вас. Папа.

Я часто жаловалась в письмах Марку на свою жизнь. Кому еще я могла об этом рассказать? Он не всегда меня понимал.

Марк — Геде

Дорогие мои!

Геда, сегодня получил твое письмо. Откровенно говоря, расстроен я сегодня. С утра злой, и кой-кому от меня попало. Ты же знаешь, я не принадлежу к той категории людей, которым присуще психовать. Нет, но не могу я спокойно мириться, когда люди языком горы ворочают, а на деле ни черта не делают. Немало лодырей еще у нас. За нашу неповоротливость и лень, за нашу беспечность часто нас бьют. Не могу я тебе писать, в чем суть дела, но не могу переварить в себе, когда люди в такое время работают — лишь бы день прошел. Я уже не тот, каким был до войны, ругаю крепко, кого следует, накладываю взыскания…

Дорогая, ты пишешь: «Вот уже третий год я не вижу тебя. Дети не видят тебя. И это терзает меня. Дорогой мой, будем ли мы опять вместе?» Что мне ответить тебе? Недавно в «Правде» Эренбург писал, что одному лейтенанту жена прислала письмо приблизительно с таким же содержанием — что она одна, жизнь ей неинтересна и т. п. Он пишет, что сейчас проявить любовь к своей жене можно только в смелых и решительных действиях на фронте. Это точно, Геда. Недавно я читал статью Симонова «Дни и ночи» о боях в Сталинграде. Я подумал: вот это мужество, вот это стойкость, это героизм. И в эти грозные дни я живу мирно в тылу. Именно потому, что я люблю тебя и детей, я должен был бы побольше уничтожить этих мерзавцев…

Пиши, дорогая, почаще и побольше. Прости, что я иногда пишу мало. Как твое здоровье, питание и пр.? — об этом ты никогда не пишешь. Будьте здоровы, желаю вам много счастья.

Целую, любящий вас Марк.

Геда — Марку

Вчера получила твое письмо. Спасибо, родной, что часто пишешь. Я действительно очень жду твои письма, очень тоскую, когда проходит неделя без письма. Вижу, родной мой, какую напряженную жизнь ты ведешь, вижу, как горишь в работе, даже когда пишешь письмо, продолжаешь переживать — нелегко, как видно, работать с людьми. Ты упоминаешь о женщине, которая написала

письмо своему мужу лейтенанту — и, как видно, ты не одобряешь ее настроения. Я не читала эту статью, но должна огорчить тебя, должна сказать тебе то, о чем бесконечно много думаю. О том, как тяжела, как безрадостна, как беспросветно идет моя жизнь без тебя. Все тяжелое можно перенести, если есть надежда. С надеждой живу я сейчас. Для меня сейчас жизнь — это непрестанный поток работы. С 8 утра и до 9 вечера, стоя за доской, думаю и передумываю всевозможные детали. Без выходных, без отдыха, гоню я дни за днями, скорее бы проходили, и поддерживает меня в этой жизни только надежда…

То, что ты сетуешь на себя, что в эти грозные дни живешь «спокойно» в тылу, что, любя нас, должен был бы побольше уничтожить этих мерзавцев и т. д.… не знаю, Марочка, мне кажется, что ты ведь понимаешь смысл своей работы. И если пораньше начали бы так учить бойцов и командиров, как ты учишь их, не пришлось бы нам переживать всего этого кошмара, может быть, знали бы мы, где сейчас Сема, Доля, Женя. Вообще, по этому поводу многое могла бы сказать тебе, сердце горит, когда думаю обо всем. Но сейчас лишь скажу, что такое горячее возбуждение по поводу лодырей не к лицу тебе. Будь спокойней, будь вдумчивее и осмотрительнее. Голову потерять легко, но тогда уже никакой пользы ни Родине, ни семье не принесешь. Так будь же всегда спокойным и серьезным, каким я тебя знаю…. А вообще, не знаю, что нужно, а что не нужно сейчас. Будь здоров, дорогой мой. Счастье, радость и успехи, которые ты желаешь нам в каждом письме, звучат сейчас довольно ироничным пожеланием. Будь здоров. Любящая тебя Геда. До скорой встречи. Это самое лучшее пожелание.

Зиму 43-го — 44-го мы прожили голодно, я в столовой на работе питалась, а для Толи и Вадика совсем еды мало было. Что могла, я с работы приносила, а по карточкам совсем мало давали. Весной нам выделили огород — уже не колхозный, который мы должны были по повинности обрабатывать, а свой, личный, чтобы мы для себя овощи вырастили. Я с детства запомнила, как в деревне под Харьковом старушка вынимала из печки закопченный темный чугунок, открывала его — а там чудесная белая рассыпчатая картошка, пар вырывается… Как навязчивый сон у меня этот чугунок был — весь черный, а картошка мягкая, белая — грезила я картошкой.

Землю по одной восьмой сотки выделили за заводом, где бараки стояли, — утоптанная вся, ее нам трактором перевернули, а дальше сами копали. Мы с Толей по вечерам и воскресеньям все поле перекопали, купили клубней и посадили. Рядом с огородом дома стояли, мы там познакомились с женщиной из Одессы, Розой, — она одна с грудным ребенком жила, муж мобилизован, а она с заводом приехала. Стали у нее лопаты оставлять.

В августе 44-го после работы мы с Толей пошли на огород и выкопали два куста — картошин штук десять. Пошли назад и как раз проходили дом Розы — я и кричу: «Роза, Роза, радость какая! Мы картошки накопали!» Роза высунулась из окна и говорит: «Замолчи, замолчи, беги на работу, проси отгул на завтра». Я побежала, застала начальника, он разрешил. В пять утра мы с Толечкой пришли на огород, смотрим — вся наша деляночка вскопана, нет картошки — ни одной. Я Толю в школу проводила и на работу пришла. Молча прошла мимо всех, села за кульман и стала работать. Работаю — а у меня слезы текут. Через несколько часов сотрудники заметили, стали спрашивать, что случилось. Роза мне потом говорила, что она поздним вечером пошла посмотреть на поле — а уже поздно было…

Возвращаемся в Москву

Зимой 45-го года я решила вернуться с детьми в Москву. Те, кто в командировку в Москву уезжали, брали командировочные, ехали, а из Москвы назад не возвращались. Я знала, что завод назад перевозить не будут, и ждать в Безымянке было нечего. Душа к Марку рвалась, война завершается — вдруг, думаю, ему дадут отпуск. Бумажка на сохранность жилплощади у меня осталась.

Я пошла к начальнику и упросила отпустить меня в Москву. Меня уволили и выдали бумагу для проезда в Москву. Мой огород обокрали, но в месткоме ко мне по-доброму отнеслись — дали из общего огорода 8 килограммов проса. Я сходила на крупорушку, где мне просо обмолотили — и получился большой куль пшена. Еще дали пару буханок хлеба и выделили полмешка картошки с коллективного поля, которое мы вместе обрабатывали. Еще бидончик подсолнечного масла и яичный порошок. Хорошо меня снарядили.

Поезд ехал целую неделю. В центре теплушки стояла железная печурка, у меня была с собой сковородка, и я на радость детям всю дорогу пекла им яичницу из порошка.

Перед Москвой у меня началось дикое обострение язвы. Мы

еле-еле выгрузились на вокзале со всем скарбом и запасами еды. Пустынно в Москве, ветер, холодно, машин нет. За эвакуацию кое-какие вещи появились, чемоданы с моим барахлишком: кастрюли, ложки-поварешки, швейная машинка и запас еды. Трамваи не ходят. Я обегала вокзал, нашла машину-полуторку, водитель помог загрузить наши вещи — так мы и доехали. Вещи у дома свалили, прямо в грязь. Стоим перед заколоченной дверью. Пошла в дворницкую, смотрю — дядя Петя не изменился: посмотрел на меня хмуро и пошел дверь отколачивать. Я вошла и прямо ахнула: весь пол усыпан рукописными листочками — мои письма, письма Марка, братьев, родителей — по листочку устлан весь пол. Как так? Затем уже осмотрелась: дверцы шкафа открыты, кровать голая — ни подушек, ни одеяла, ни матрацев, ни ложек — унесли все. Только письма никому не нужны были — рассыпаны по полу. Как же вошли? Дверь забита, окна забиты… Подошла к окну, смотрю — фанера снизу надрезана, только кажется, что окно забито: поднимай фанеру и влезай… Местные ребята — хулиганы — подальше от родительских глаз здесь хозяйничали.

Стала обустраиваться. Собрала все письма, одеяла детям достала, запас еды спрятала под кровать.

Утром поняла, что не могу больше терпеть боль в желудке, и пошла в поликлинику. Думаю — может, в Москве лучше лечат. Врач меня осмотрел и сказал то, что я, как стихотворение, запомнила на всю оставшуюся жизнь: «Вы должны знать, что в жизни у вас будет все меньше и меньше светлых минут. Немедленно в больницу». Я поехала к отцу — они с Дорой Яковлевной уже вернулись из эвакуации. Отец подсуетился и положил меня в больницу, а детей взял к себе.

А тут еще такая история приключилась. Спички по карточкам давали — 10 коробков в неделю, а столько было не сжечь — вот Дора Яковлевна и пошла на рынок лишние спички продать: хоть какой дополнительный заработок. Ее там и арестовали за злостную спекуляцию. Вскоре выпустили, но первое время отец и с детьми сидел, и ко мне в больницу бегал, и за Дору Яковлевну хлопотал.

В больнице мне приснился сон, как будто я ем мясо. Я соседке по палате рассказала, а она говорит: «Приедет родной человек». И действительно: на следующий день Марк приехал. Остановился у отца. Отец всех зятьев и невесток любил. Дети были у него «дуралеи» и «негодницы», «мыслить не умели», а Марка он обожал. Вечером Марк приехал, а утром пришел ко мне в больницу. Так мы с ним и встретились. Приехала бы я позже в Москву — Марка не увидела бы.

Только один день Марк в Москве побыл. Со мной посидел, с детьми повидался — и уехал на фронт: война к концу шла, но еще никого не отпускали…

Отец привез детей ко мне в больницу. Я ему говорю: «Почему у тебя дети в одном и том же ходят? Поезжай на Барабанный переулок, возьми их чемодан». На следующий день опять приходят в той же одежде. Я говорю: «Папа, ну что же ты их не переодел?» Он говорит: «Гедочка, не успеваю за чемоданом съездить». Я объяснила, где чемодан лежит и где еда.

Через несколько дней опять приходит папа и говорит: «Гедочка, ты знаешь, сколько я живу?» — «Знаю». — «Знаешь, сколько раз я с места на место переезжал?» — «Знаю». — «Знаешь, сколько раз я все оставлял, терял и с нуля начинал?» — «Знаю. Куда ты клонишь, папа?» — «…Сколько я войн прошел, сколько раз все потерял и все равно жив остался? Был я, Гедочка, на Барабанном… Чемодана с одеждой нет, пшена нет, картошки нет, ничего нет — все своровано».

Я вышла из больницы и на следующей день заболела тифом. Второй раз в своей жизни. Меня обрили, я исхудала. После всех больниц мне дали инвалидность. Шура договорилась о работе для меня — шить галстуки, я сидела дома и строчила на своей машинке. Месяц я так работала, и работа эта бездумная мне поперек горла встала. И я больше не пошла инвалидность продлевать. Оставила детей дома и отправилась по Москве работу искать. Объявление: «Нужны архитекторы». Прихожу, снимаю шапку — а у меня после тифа волосы ежиком острижены. Спрашивают: «Что можете?» Говорю: «Рабочую документацию любую могу, и эскизное проектирование немного на заводе делала». Мне говорят: «Нет, мы уже наняли человека». Дальше иду — опять объявление. Захожу — нет, говорят, спасибо, мы вчера уже взяли человека. Так я неделю ходила. Пришла к отцу, говорю: «Папа, меня никуда не берут». Он говорит: «Иди в зеркало на себя посмотри. Ты сначала волосы отрасти, пальто себе пошей, а затем иди на работу устраиваться». Я не стала папе говорить, что на пальто денег нет и не могу я ждать, пока волосы отрастут, на следующий день опять по Москве пошла. «Не нужно, — говорят, — уже взяли». Пришла я в Гипростанок — он располагался в здании на улице Герцена, в бывшем Клубе медработника. Меня расспросили и говорят: «Спасибо женщина, — к сожалению, не нужно». Я уже привыкла к отказам, не надеялась — развернулась и пошла. Спускаюсь по широкой мраморной лестнице — и вдруг сзади меня окликают: «Женщина! Вы говорили, что и конструкторские работы можете делать?» — «Да, могу». — «Нам нужно ленточный фундамент спроектировать.

Возьметесь?» Ленточные фундаменты я никогда не проектировала, но тут вспомнила, как папа на меня кричал: «Не смей говорить „не могу“!» Отвечаю: «Сделаю», — я когда-то конструкторские курсы кончала, фундаменты изучала. Вернулась, взяла замеры и пошла домой. Там у меня было самодельное подобие кульмана. Два дня чертила не разгибаясь, почти не спала, Толя еду на всех готовил — через два дня принесла чертежи. Мне говорят: «Женщина, подождите здесь», — и несут мои чертежи директору. Возвращаются: «Приносите документы оформляться на работу». Вечером пошла к отцу и говорю: «Папа, меня взяли на работу». В Гипростанке я и проработала всю оставшуюся жизнь.

Победа

День Победы. Как в песне: радость со слезами на глазах.

Это был воскресный день, как и начало войны. Мы знали из радио и газет, что капитуляция Германии будет днями. С самого утра у нас включено радио, и все ждут. Объявили рано утром — в коридоре начался невообразимый шум, народ ринулся с воплями к выходу, а выход как раз напротив дверей нашей комнаты — и радостные вопли сменились рыданиями. 25 комнат — из каждой ушел один или два человека, большинство в ополчение. На бойню ушли — и всё. Из всего коридора Катков вернулся и про Марка было известно, что он жив. Все остальные погибли. Рыданиям, крикам не было конца. Недавно я взяла письма военных лет и увидела, что они рассыпаются. Я решила их переписать. Я переписала свое письмо и письмо Марка про День Победы. Я думала, что это будут восторженные письма, но они оказались сдержанными. Слишком много горя, слишком долго ждали — уже не могли радоваться. Ева, сестра Марка, работала на ликероводочном заводе — там все воскресенье пили и перепились. К вечеру мало кто держался на ногах. Наутро я пошла на работу — и там тоже был праздник. Все опять пили — все шло через край. А о войне не говорили, старались не бередить раны.

Марк — Геде
9 мая 1945 г.

Мои дорогие!

Наступил долгожданный день! Народ ликует и торжествует победу. Поздравляю с днем победы над

фашистской Германией. Я вспоминаю 22 июня 41 года. Какая разница! Велики наши успехи, но и потери безграничны. Многих унесла война, много ран стране принесли проклятые фашисты. Потерянное не вернешь. Мертвые не станут живыми. При нашем строе будет быстро все восстановлено. Мы скоро залечим раны и заживем еще лучше прежнего. Думал ли я, что останусь живым? Конечно, нет. В судьбу я не верю, это просто случайно сложились обстоятельства, что шквал прошел мимо меня. Я здесь до конца отдавал себя делу и многое сделал. Но сегодня все же мне обидно, что я был не на первой линии борьбы. От меня это не зависело. Но все же обидно. Сказал товарищам, что в день победы напьюсь! А я этому не научился. Но тост за победу сегодня подниму… Мой праздник омрачен, Геда, твоим молчанием. Послал тебе две телеграммы, как здоровье твое и Толи? Будьте здоровы, желаю вам счастья.

Целую. Марк.

Победа — а я одна в Москве с детьми.

Родители Марка

Летом Марка вызвали на высшие командные курсы в Смоленск. Он мне написал: «Гедочка, бери детей и приезжай». Я уговорила на работе дать мне отпуск и поехала к Марку. Детей в пионерлагерь взяли, в лесу под Смоленском, а мы жили вместе. Марк на занятия уходил и занимался допоздна, а я взяла в военной библиотеке «Сагу о Форсайтах» и весь день читала — отводила душу.

От Смоленска до Рудни — родины Марка — 70 километров. И в одно из воскресений Марк поехал в Рудню. Я хотела с ним, но он сказал: «Гедочка, не нужно». Рудня — одноэтажный город, большинство домов деревянные — только школа была кирпичная. И сплошное пепелище. Марк решил найти свой дом, думал, что вот от школы-то помнит, как идти… Нашел фундамент школы — больше ничего не осталось — и пошел по сгоревшей улице. Пять лет прошло, но все изменилось, заросло, ничего узнать нельзя. Бродил-бродил — и вдруг его окликнули: «Абрам-дед!» — так отца его звали: «дед» — потому что он рано поседел. Марк обернулся, смотрит — русский человек стоит, Марка с отцом спутал. Человек сказал: «Обознался, очень вы похожи, Абрам только поприземистей был, а я его хорошо знал, лен ему сдавал».

И он все Марку рассказал. Немцы всех евреев согнали за проволоку, но Розины вначале дома остались: Сима преподавал русский язык в школе, Зямина жена была русская, заведующая яслями, у нее ребенок годовалый был, русские и евреи были перемешаны и говорили по-русски, только с акцентом. А потом кто-то донес — и всех Розиных, включая Зямину жену и ребенка, забрали. Месяц держали за проволокой. Не кормили. Всю еду, которая была, взрослые отрывали от себя и давали детям. Но дети умирали первыми. А затем велели ров копать. Никто не знал, зачем этот ров, — думали, что, может, кормить будут за работу. А когда ров выкопали, их выстроили и велели петь немецкую песню, прославляющую Гитлера. А они не стали. Тут их всех и расстреляли и сбросили в ров. А одна женщина была только ранена, ночью выбралась из могилы и приползла к своей знакомой русской семье. Ее спрятали, и всю войну она прожила в погребе. Она-то и рассказала, как все было, человеку, который Марка окликнул.

Когда Марк приехал из Рудни, на него страшно было смотреть. Он сказал очень коротко, как его окликнул человек, и рассказал, что было. А что рассказал этот человек, Марк говорить не стал. В октябре 41 года объявили по радио, что расстреляны евреи в Рудне. А расстреляли их еще в августе.

Часть VIII

После войны

Из армии Марка все не отпускали. Мы уже 10 лет были порознь. После училища в Смоленске он получил назначение на Дальний Восток. Марку надоело быть одному, и он решил, что нам надо соединяться. Многие офицеры жили с женами, и он подал рапорт, чтобы ему разрешили привезти жену и детей. Разрешение ему дали и выделили комнату. Дом находился на берегу моря — страшно ветрено, в стенах щели. Чтобы согреть комнату, приходилось круглосуточно топить печку. Марк несколько недель сам утеплял комнату, обил ее картоном, оклеил обоями и поехал за нами в Москву. Приехал — а у меня очередное обострение язвы, я в больнице. Марк пошел к моему лечащему врачу, а тот говорит: «Какой Дальний Восток?! Ей и от Москвы-то отъезжать нельзя». Тогда Марк еще раз написал рапорт своему руководству и объяснил, что жене по состоянию здоровья нужен мягкий климат. Марку пошли навстречу, и он получил назначение в Анапу.

Повез он детей без меня — я, как всегда, в больнице. В первый же день, как они приехали в Анапу, потерялся Вадик. Марк всю Анапу обегал, нашел его на пляже — местные мальчишки учили его плавать. Первый месяц Марку пришлось самому заботиться о детях. Непривычно ему было — и готовить пришлось, и стирать на детей. Хозяйка, у которой он квартировался, написала мне письмо: «Геда Семеновна, ничего плохого сказать не хочу, но я подарила Марку Абрамовичу банку варенья — а дети у него едят варенье ложкой прямо из банки».

Выйдя из больницы, я пошла просить перевод с работы из Москвы в Анапу. Войны не было, но время суровое — отдел кадров начал меня жучить: «Уволитесь — больше мы вас не возьмем». Я сказала: «Увольняйте!»

В Анапе мы жили до 56-го года — хрущевской демобилизации. Начальник Марку не сразу сказал, что пришел приказ о демобилизации: Марк — ценный работник, решил его придержать. А как мы узнали — стали с Марком обсуждать: где жить, куда ехать. Мне не хотелось возвращаться в Москву, я говорю: «Марочка, давай останемся в Краснодаре — тут тепло. Я буду проектировать дачи». Написала отцу, а он ответил: «Ни в коем случае — только в Москву!» Для Марка папа был авторитет, и мы вернулись. Через неделю мне позвонили из Гипростанка и

сказали: «Геда Семеновна, вас видели на улице, знаем, что вы приехали, — возвращайтесь на работу». И я вернулась.

Толю забрали в армию. Вадим не поступил в институт и устроился на подмосковный ракетный завод, а оттуда его мобилизовали на действительную службу.

Марк нашел комнатку. Туалет отдельно, холодный. И мы стали жить вдвоем. Мы так рады были, что наконец-то живем вместе, что своя комната, — устали от войны, устали мыкаться по углам. Марк искал работу два месяца. Его звали в торговлю, но он не хотел. Наконец, его взяли в «Сельхозиздат» редактировать журнал про сельскохозяйственную технику. Он эту тему хорошо знал — он же служил в танковых войсках, всегда увлекался техникой, а устройство трактора похоже на устройство танка. Марк в детстве говорил на еврейском, и потому у него хромала грамотность. Чтобы быть редактором, он стал посещать курсы русского языка, каждый день писал диктанты, делал упражнения, учебник грамматики всегда носил с собой.

Работа у меня была ответственная, а я без образования — два курса архитектурного. Я всегда старалась не сделать упущений, прислушивалась к другим, пыталась узнать что-то новое. Меня, к моему удивлению, держали за старшую, даже сделали руководителем группы. Я сказала: «Марочка, хочу продолжить учебу в архитектурном». А он говорит: «Гедочка, я вижу, как тебе тяжело учиться, — ты будешь страшно мучиться. Не надо, давай поживем по-человечески». И я послушалась.

Комната у нас была невзрачная, и мы почти каждый день встречались после работы и куда-нибудь ходили. Или по Москве гуляем, или в кино пойдем, или в театр. В Большой театр билеты стали дорогие, но мы ходили в другие театры — там цены были умеренные. Иногда сразу домой пойдем. Рядом с работой был диетмагазин, я зайду — куплю еды, дома приготовлю что-нибудь вкусное. Поедим — и сидим читаем. Много читали. Во время войны в письмах он всегда писал: «Это при встрече», «Гедочка, я обязательно должен тебе рассказать». А теперь разговор не клеился. Я несколько раз про Ирму спрашивала, про письмо Хрущева о Сталине — Марк отмалчивался. Я видела, что он тяжело переживает разоблачение Сталина, но говорить об этом не хочет. И про войну мы не говорили. На вид Марк сдержанный, суховатый, но очень все переживал и держал внутри себя. В остальном мы понимали друг друга с полуслова. Про книги говорили, стихи друг другу читали, планы на будущее строили, детям в армию письмо напишем. Наступило золотое время. Нам было очень хорошо вдвоем.

Мы всегда были заняты. Я работала медленно и всегда

задерживалась на работе на час, на два. На работе телефон поставили, вечером созваниваемся — давай встретимся. Как-то стояла на улице и ждала Марка: сейчас он из-за угла выйдет — а меня сотрудница увидела и говорит: «Геда Семеновна, первый раз вижу, как вы улыбаетесь». На работе я строгая была, неулыбчивая.

Мы решили попытаться получить комнату в коммунальной квартире. Я пошла в Дурновский переулок — самое первое мое жилье, когда я к папе приехала; хотела справку получить — а дома уже нет. Бараки, в которых мы коммуну организовали, тоже снесли. Жили без прописки, никаких документов не осталось. Так день за днем после работы ходили, ждали в очередях, просили, нас в архив посылали, там тоже ничего нет, — вот так футболили. Мы намучились, но в конечном итоге нам дали комнату в настоящей квартире, а в квартире ванная — это был предел наших мечтаний: до этого я жила в квартире с ванной только у тети. И мы с Марком вместе — и это уже совсем другая жизнь.

Мы стали вдвоем ездить в отпуск, побывали на Кавказе. А потом дети из армии вернулись, поселились с нами. Наступила мирная жизнь — да, наши с Марком золотые дни…

В 64-м году Марк заболел, и его отправили сдавать анализы. Узнавать результаты мы пошли вместе. Врач принял нас, посмотрел на анализы, кому-то позвонил и начал кричать: «Вы зачем присылаете ко мне онкологического больного?!» Я бросилась к нему, хотела остановить, сделать, чтобы он замолчал, — но Марк меня удержал. Мы вышли из кабинета: «Только не плачь, Гедочка, пожалуйста, не плачь, а то я сам заплачу…»

Эпилог

2012 год — мне скоро исполнится 100 лет.

Марк умер в 1964 году — через полгода после того, как мы узнали, что у него рак. А в 1965-м у Вадима родился сын, мой первый внук, и Вадим решил назвать его в честь деда Марком. Марк — Марик — сейчас записывает с моих слов эти воспоминания. Как жалко, что Марк не дожил до этого дня. Он мог бы очень многое дать детям и внукам — больше, чем я. Ему не довелось увидеть внуков. А дети… жизнь была такая сложная, что он мало сумел пообщаться с ними.

Мои внуки иногда спрашивают меня, верю ли я в Бога, что я думаю про жизнь после смерти. Меня воспитали комсомолкой, и я атеистка — я не задумываюсь о том, что будет потом. Иногда только приходит мысль: «А вдруг встречусь с Марком?» Если и есть загробный мир, я бы хотела с ним встретиться.

Через три года после смерти Марка, в 67-м, у меня было прободение язвы. Было лето, дети с Мариком на даче, я привыкла терпеть и одна пролежала три дня дома. Приходила участковая врач, говорила: «Не беспокойтесь», — и я ждала. На третьи сутки я вызвала «скорую». Меня немедленно повезли в больницу, и оказалось, что у меня перитонит уже 18 часов; позже я читала, что больше 15 часов никто не выживает… Мне сделали операцию, я была в клинической смерти. Некоторые что-то видят — свет, коридоры, — я ничего не запомнила.

Я выздоровела и продолжала работать. Работала до 82 лет. В последние годы я стала совсем плохо видеть — изображение двоилось. Я смотрела на чертежи и знала, что верхняя линяя реальная, а нижняя мне только чудится — так и чертила, делая поправку на обман зрения. Работала я до 1994 года, а затем чертежи стали делать на компьютерах — и я их уже не освоила.

К старости я стала сморщиваться, уменьшаться в размере. Моя восьмилетняя правнучка уже выше меня. Я все время мерзну и хожу в нескольких кофтах. Днем я хлопочу по хозяйству, потом книжку читаю. На машинке «Зингер», которая осталась от родителей, уже не шью — сил не хватает.

Ночью мне плохо спится. Думаю о давно умерших людях, вспоминаю, жалею о том, как быстро пронеслась их жизнь. Я живу с Толей и невесткой в однокомнатной квартире в Митино — будить их не хочу и потому по ночам свет не зажигаю, переживаю в темноте. Иногда встану тихо, пойду в ванную, включу свет и почитаю… К семи все просыпаются — и становится легче.

Я много смеюсь. Говорят, что раньше я была более серьезная

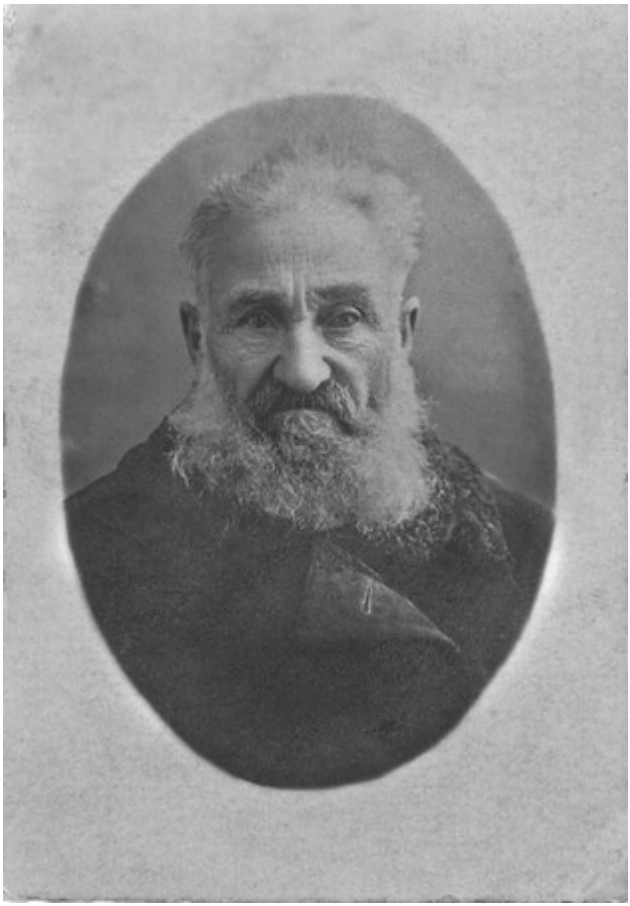
— мне приходилось работать, думать о детях, о Марке. Сейчас я поняла, что мало на что могу повлиять. Я по-прежнему переживаю — но уже немного в стороне.

У меня бывают приступы аллергии, от которых трудно дышать, иногда приходится вызывать «скорую». Сердце не болело всю жизнь, а теперь и оно стало барахлить. Пришел как-то врач и говорит: «Геда Семеновна, у вас сердцебиение от испуга: вы начали задыхаться, испугались — и стало колотиться сердце». Я объясняю врачу: «Я не боюсь, я рационально думаю о том, что нужно делать. Я знаю, что в скорой помощи бригада сменяется в 9 вечера. Если приступ начинается раньше, я жду до 9 — люди устали, зачем их тревожить, — а после 9 уже вызываю».

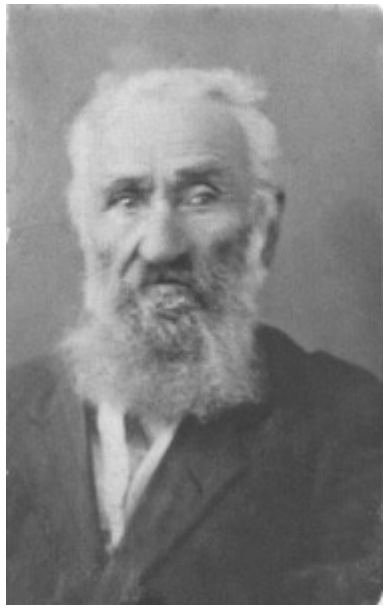
Врач говорит, что не только я сама терпеливая, но и мое сердце. У меня порок сердца, с которым люди не живут, а мое сердце приспособилось и пока стучит. Как-то приехал мой внук Лёва — он увлекается буддизмом — и стал рассказывать, что я так много смеюсь, улыбаюсь, не боюсь смерти, потому что я просветлилась… Я особо не думаю о смерти — я достаточно пожила на этом свете.

Недавно сердце ухудшилось, в легкие попала жидкость — и я стала задыхаться каждый день. Пришел дежурный врач, позвонил куда-то — и я слышу, как на том конце трубки говорят: «Зиманенко? Сто лет? Выпиши аспирин». А через неделю «скорая» увезла меня в реанимацию. Перевели меня в палату — и как раз мой внук Марик пришел, принес телефон. Я звоню сыну Толе. Он кричит: «Мама, ты откуда звонишь?!» Мне смешно стало от его вопроса, и я ответила: «Из райских кущ».

Сейчас я опять дома. Вымылась, сижу на диване. Чего еще мне придется пережить на своем веку? Через полгода мне исполнится 100 лет, если я, конечно, доживу. Говорят, в Москве есть еврейский ресторан, где в день рождения человеку и всем его гостям дают скидку столько процентов, сколько ему лет. Позову я, что ли, в еврейский ресторан детей, внуков и правнуков… Пусть поедят блюда, которые в моем детстве готовила бабушка Ханна.



Мой дедушка — Залман (Михаил) Гдалиевич Зиманенок. Родился в XIX веке, а когда точно, я не знаю. Фотография сделана в Ленинграде в 20-е годы XX века.



Залман Зиманенок. Последняя фотография дедушки незадолго до смерти. Ленинград, конец 20-х годов XX века.

Моя бабушка — Ханна Зиманенок. Родилась в XIX веке. Умерла в 1924 году в Симферополе от холеры. Фотография начала 20-х годов XX века.

Мой папа — Самуил Залманович Зиманенок (справа). Родился в 1890 году. На Украине взял себе имя Семен Захарович Зиманенко. Умер в 1980 году в возрасте 90 лет. Моя мама — Ревекка Соломоновна Абезгауз (слева). Родилась в 1885 году, старше папы на 5 лет. Умерла в 1932 году в Симферополе от туберкулеза. Девушка в центре — первая в Витебске переводчица «Капитала» Карла Маркса. Фотография сделана в Витебске в 1909 году.

Моя мама — Ревекка Абезгауз (справа). 1909 год.

Мамин брат — Беньямин Абезгауз. Родился в конце XIX века, пропал без вести во время Первой мировой войны. Фотография начала XX века.

Самая ранняя фотография, на которой можно увидеть нашу семью. Женщина в центре — моя тетя Вера (Витта) Зиманенок, по мужу Дубинина. За ней стоит мой брат Сеня — Семен Зиманенко. Слева — Лида Дубинина, дочка моего дяди, Анисима Антоновича, от первого брака. Справа — мой брат Доля, Даниил Зиманенко. Я лежу на песке. Фотография сделана в 1921 году в Евпатории — тетя Вера приехала к нам в гости вместе с Лидой и взяла нас на море.

Семен Семенович Зиманенко — мой старший брат. Родился в 1909, умер в 1963 году. Фотография 30-х годов XX века.

Мой брат Доля, Даниил Семенович Зиманенко. Родился в 1910 году, пропал без вести в 1942 году на фронтах Великой Отечественной войны. Фотография 30-х годов XX века.

Моя младшая сестра Шура, Александра Семеновна Зиманенко. Родилась в 1916, умерла в 2001 году. Фотография 1941 года.

Моя тетя — Вера Дубинина. Родилась в 1896 году в местечке Яновичи, умерла в 1986 году в Тбилиси в возрасте 90 лет. Фотография 20-х годов XX века.

Мой дядя — Анисим Антонович Дубинин. Во время Гражданской войны — командир Красной армии, в советские годы руководил железной дорогой сначала в Средней Азии, затем в Сибири, а затем в Ленинграде. Расстрелян как враг народа в 1938 году. Фотография 20-х годов XX века.

А это я — Геда Зиманенко. Фотография сделана в 1924 году в Омске. Мне 12 лет. Я первый год живу с дядей и тетей. Эту фотографию я послала папе.

Еще одна моя фотография. Снята в Омске в 1925 году. На обороте надпись: «На добрую память дорогой мамочке. От дочки Геды».

Бригада учеников-арматурщиков. 1929 год. В центре — наш учитель Глагольев, я — единственная девушка в бригаде (третья справа в нижнем ряду).

Наш учитель — Глагольев. Обучал нашу бригаду арматурщиков. 1929 год.

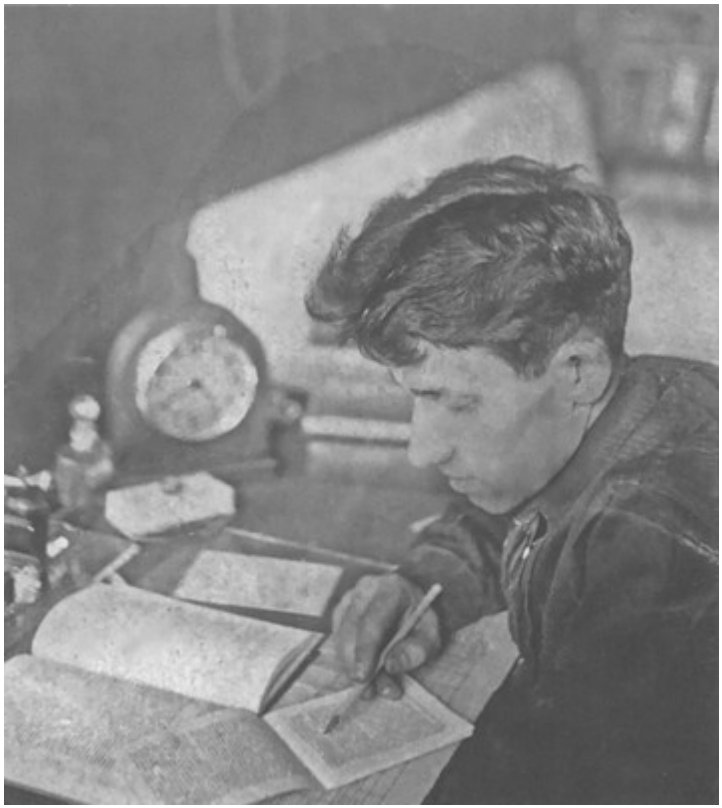
Учусь чертить на рабфаке. Я — в центре, рядом — мои соученицы. 1930 год. Мне 18 лет.

Марк Абрамович Розин, мой муж. Это самая ранняя фотография Марка. Конец 1920-х годов.

Марк Розин. 1930-е годы.

Мама Марка — Шейна Мееровна Розина (справа). Рядом братья Марка. В центре — Сема (Шлема) Розин, родился в 1918 году, погиб в 1942 году, защищая Севастополь. Слева — Ирма Розин, родился в 1913, расстрелян в 1937 году за участие в белогвардейском движении. Фотография конца 1930-х годов.

Мы с Марком. Фотография начала 1930-х годов.



Марк за работой. 1930-е годы.

На обеих фотографиях: Марк (слева) со своим другом и земляком Лившицем. 1930-е годы.

Марк (слева) с друзьями, в пансионате. 1930-е годы.

В пансионате с друзьями. 1930-е годы. Марк — справа.

Дора Яковлевна Зиманенко (в девичестве — Левина), справа.

Родилась в 1901 году, умерла в 70-х годах XX века. Слева ее племянник Яша — Яков Михайлович Заславский, родился в 1922 году, погиб в 1944 году, освобождая Прибалтику. Фотография 1928 года.

Дора Яковлевна Зиманенко — слева. Рядом ее сестра — Мильда Яковлевна. В центре — муж Мильды Яковлевны, Михаил Заславский, у него на руках моя сестра Люба, дочка моего отца и Доры Яковлевны. Любовь Зиманенко родилась в 1927 году, в настоящее время проживает в Германии. Фотография сделана в 1940 году, Доре Яковлевне 39 лет, а Любе — 13.

Старший сын Толя и я. 1936 год.

Сын Толя — Анатолий Розин. Родился в 1934 году, в настоящее время живет в Москве. 1935 год.

Марк, Толя и я, Геда. 1936 год.

Толя в детском саду — третий справа. 1938 год.

Толя (слева) и Вадим Розины.

Вадим (слева) и Толя. Фотография сделана в студии в 1940 году Марком как подарок мне ко дню рождения. Эту фотографию Марк носил с собой всю войну.

Вадим, Толя и Марк (слева направо). 1940 год. Еще одна фотография, которая прошла с Марком всю войну.

Я с детьми в эвакуации. 1942 год.

Марк Розин, годы войны.

Марк Розин, годы войны.

Толя и Вадим в эвакуации.

Слева направо: Марк, Вадим, Толя и я. 1945 год.

Мы с Марком. 1945 год.

Моя фотография после смерти Марка. 60-е годы XX века.

Геде Зиманенко исполнилось 100 лет. Перед вами рассказ о ее жизни от первого лица – остросюжетный, драматичный и одновременно трогательный. Ее тонкие наблюдения и точные зарисовки ярко высвечивают эпоху, позволяют увидеть ее глазами обычного человека. Девочка из еврейской семьи, комсомолка, член коммуны, которая любила, трудилась, растила детей, терпела нищету и боль, отчаивалась, но не теряла надежду и не утратила веру в людей. Удивительно скромный и вместе с тем упрямый характер Геды помог ей пройти через все ураганы века, обрести мудрость и сохранить способность радоваться каждому новому дню.

9785995302433

THE CHAIS FAMILY LIBRARY
OF JEWISH THOUGHT

notes

Примечания

1

Сейчас это улица Морозова. — *М. Р.*

2

Баклажаны. — *М. Р.*

3

ARA (American Relief Administration, Американская администрация помощи) — американская неправительственная гуманитарная организация, созданная в 1919 г. Оказывала продовольственную и иную помощь населению государств, пострадавших в результате Первой мировой войны. Наиболее известна своим участием в оказании помощи Советской России в ликвидации голода 1921–1923 гг. — *М. Р.*

4

Ныне бульвар Ивана Франко. — *М. Р.*

5

Нафтолий — традиционное еврейское имя. — М. Р.